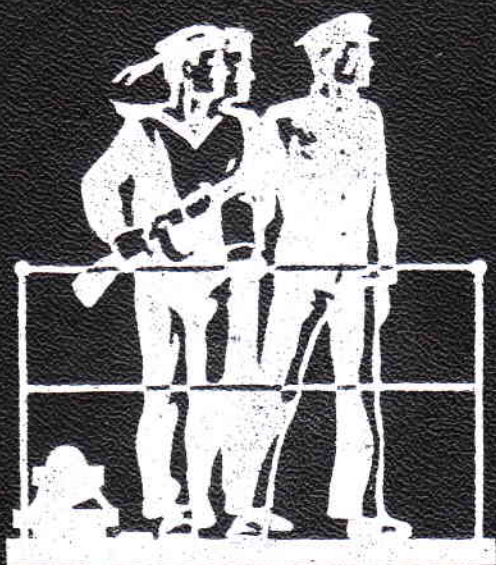


О Л Е Г С Е Л Я Н К И Н



НА РУМБЕ-
МОРСКАЯ
ПЕХОТА



2



О Л Е Г С Е Л Я Н К И Н

НА РУМБЕ-
МОРСКАЯ
ПЕХОТА

Почти все произведения писателя Олега Селянкина посвящены изображению героического подвига советских людей в годы Великой Отечественной войны (романы «Стояли на смерть», «Вперед, гвардия!», «Быть половодью!», повести «Ваня Коммунист», «Есть так держать!» многие рассказы). Темы их не были придуманы, они взяты писателем из реальной военной жизни. О. Селянкин сам непосредственно участвовал во многих боевых событиях, описанных позднее им в своих книгах.

В документальной повести «На румбе — морская пехота» писатель вновь воскрешает события Великой Отечественной войны, вспоминает свою боевую молодость, воссоздает картины мужества и отваги товарищей-моряков.

© Пермское книжное издательство. 1976 г.

ОТ АВТОРА

Ни в чувсовской школе № 8, которую я окончил в 1937 году, ни в Высшем военном-морском училище, куда сразу, после окончания десятого класса, был направлен по путевке ЦК ВЛКСМ, ни в последующие годы войны, когда приказы командования бросали меня то на один, то на другой фронт, мне даже во сне ни разу не приснилось, будто я когда-нибудь стану писателем. Моей главной мечтой в то время было — вырасти в хорошего командира, может быть, даже в адмирала. И в этом признании не вижу ничего зазорного: стоило ли оканчивать Высшее военноморское училище, если у тебя нет подобной мечты?

Не мечтал стать писателем, вот и не вел дневниковых записей, что сохранила память — весь мой багаж.

Разумеется, многое забылось, а кое-что в свое время я и не стремился узнать. Например, — полных биографических данных того или иного человека, с которым судьба столкнула меня на дорогах войны: времени для принятия нужного боевого решения всегда оказывалось так мало, что тратить его на что-то еще было бы преступлением.

Однако в буднях фронтовой жизни мне довелось встречаться и с такими людьми, что даже попытайся забыть кого из них — не сможешь. Вот и стоит он у тебя в памяти, как прекрасно видная со всех сторон башня очень нужного и хорошо знакомого маяка. Они, эти люди, ставшие для меня своеобразными маяками, и не дают забыть о войне, заставляют братья за перо. Им, героям Великой Отечественной войны, я и посвящаю свой труд.



...А почестей мы не просили.
Не ждали наград за дела.
Нам общая слава России
Солдатской наградой была.

Г. Поженян

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Я не искал его, моего первого фашиста, убитого в рукопашной схватке. Просто бежал со своими матросами по вражескому окопу, вписываясь в его изгибы. Фашист сам выскочил на меня из бокового хода. И занес над моей головой приклад автомата.

Не помню в деталях дальнейшего. Я будто проснулся, когда в груди упавшего врага увидел рукоятку своего ножа. И еще тогда я только и подумал, что, похоже, этот фашист выше меня почти на голову. И в плечах пошире.

А за изгибом окопа слышались хриплое дыхание, вскрики, и я бросился туда.

Было все это в июле 1941 года...

Война, хотя мы к ней и готовились, обрушилась на нас все же неожиданно. И главное — с кем? С Германией! С той самой Германией, для которой портовики еще только вчера отгрузили очередную партию пшеницы, с той самой Германией, которая еще месяца два назад продала нам свой недостроенный военный корабль; он стоял на Неве недалеко от нашего училища, я сам видел его!

Было ли мне страшно, когда мы, молодые командиры, узнали о нападении фашистской Германии? Пожалуй; да. Ведь мы уже изучали материалы боев на Хасане и Халхин-Голе, у нас за плечами была война в снегах Финляндии, где мы впервые столкнулись с автоматами, минометами и массовым минированием не только дорог и подходов к укреплениям, но и жилищ мирных жителей, даже тел павших. Мы уже твердо знали, что война беспощадна, что там запросто могут убить. А ведь тебе только-только перевалило за двадцать, и жизнь так прекрасна!

Иными словами, весть о нападении фашистов мы встретили внешне спокойно и сразу поняли, что настало время, ради которого нас учили столько лет.

Мы были даже уверены, что война многих из нас лишит самого ценного — жизни. Но что нам придется отступить, что враг сомкнет кольцо блокады вокруг Ленинграда, дойдет до Волги, — этого никто не ожидал. Больше того, выскажи тогда кто-нибудь подобную мысль — мы схватили бы его как явного врага, ибо истово верили в мощь своей армии, в своих полководцев и флотоводцев. Даже сводки Совинформбюро, в которых с первых дней войны для нас не было ничего радостного, не очень смущали. Мы ждали, что вот-вот изменятся и тон, и содержание их.

Когда началась война, я служил на подводной лодке Щ-317. Думал, на ней и буду воевать до победы или до того дня, когда она навечно нырнет в морскую пучину. Однако приказ наркома отозвал меня в Ленинград на другую, более современную лодку К-54. Она произвела на меня потрясающее впечатление, я был рад и горд, что назначен на нее, да еще исполняющим обязанности помощника командира. Но уже в первых числах июля (вскоре после выступления по радио И. В. Сталина) ночью прозвучал сигнал боевой тревоги. Экипажи

подводных лодок, как и полагалось по боевому расписанию, построились во дворе. Минутная пауза — и нам сообщили, что из подводников сформирован батальон морской пехоты. Слышу, я назначен командиром 1-го взвода 1-й роты; ко мне во взвод попали и матросы нашей лодки, что, конечно, обрадовало: этих, как мне тогда казалось, я уже успел узнать.

Еще не прочувствовали, не поняли всей важности случившегося — нам всем выдали новейшие автоматы ППД.

Командиром батальона был назначен капитан-лейтенант Н. Н. Куликов, а командиром нашей 1-й роты — старший лейтенант П. Самарин.

Наш батальон имел четыре роты автоматчиков, трехорудийную гаубичную батарею и взвод связи. И в каждой роте, кроме четырех взводов автоматчиков, были еще взвод минометов и взвод станковых пулеметов.

Как нам тогда казалось, мы являли собой изрядную силу. Пусть сейчас это звучит несколько наивно, но мы искренне считали себя способными внести какой-то перелом в ход войны хотя бы на том участке фронта, куда нас пошлют.

— Шагом... марш! — звучит команда.

Уже более тридцати лет минуло с того дня, а я и сегодня помню, ощущаю на себе взгляды ленинградцев, которыми они провожали нас. В этих взглядах были и гордость, и уверенность, что мы, балтийцы, не подкачаем. И мы шагали дружно, уверенные, что только так и будет.

Думаю, что кое-кто из вас, читающих эти строки, сейчас, возможно, недоволен: «Чего это он описывает такие мелочи? Переходил бы сразу к боям!»

И все же я считаю себя обязанным задержаться еще на некоторых «скучных деталях»: не будете знать их — сможете ли понять подвиг нашего батальона морской пехоты, сформированного исключительно из подводников?

Сначала — несколько слов о командире нашего батальона капитан-лейтенанте Куликове. Николай Николаевич был для меня и моих товарищей-лейтенантов непререкаемым авторитетом: к тому времени он отдал военной службе почти двадцать лет; за мужество, проявленное в Финскую кампанию, имел орден Красной Звезды, что тогда считалось редкой наградой. Кроме того,

так уж случилось, что мы были лично знакомы с семьей Куликова: у него, насколько мне известно, было два брата — Всеволод и Борис; первый в училище был нашим командиром роты, а второй учился вместе с нами. Это позволило многим из нас — и неоднократно — видеть Куликова и на службе, и в домашней обстановке. Должен признаться, что авторитет его в наших глазах от этого только вырос: был Николай Николаевич исключительно честен и чистоплотен в жизни, всегда уравновешен и по-настоящему высококультурен.

Многое мы знали о нем. Даже его афоризм: «Главное качество каждого военного — умение ждать и выполнять приказ».

Итак, ранним июльским утром наш батальон, покинув Ленинград, зашагал на запад, зашагал навстречу врагу.

Армейские командиры, видевшие моряков на марше, отмечают, что у них своеобразный шаг, отличающийся от шага пехоты. Что ж, согласен. Но появился он, этот особый шаг, не потому, что мы хотели пофасонить, а по совсем простой причине: моряки на корабле никогда не маршировали, они, как того требовал устав, только бегали, выполняя любое приказание. Так откуда же им было приобрести то, чем свободно владела пехота? А подводники, эти на своих лодках большую часть времени и вовсе не передвигались, чтобы не нарушить дифферентовки. Так что, надеюсь, вам, читатели, теперь понятно, каких усилий нам стоил этот внезапный пеший переход километров в двадцать. Я частенько оглядывался, особенно пристально всматривался в лица сверхсрочников — золотых специалистов своего дела, которые теперь зачастую были просто рядовыми бойцами. Пот заливал их лица, руки как-то судорожно сжимали оружие. Но люди упрямо шли и шли вперед.

Привалов мы не делали: уж очень хотелось побыстрее подойти к фронту; может, мы уже завтра потребуемся для серьезного дела?

На ночлег остановились в светлом сосновом бору на берегу Финского залива, который в тот час был зеркально неподвижен. И теплый воздух был недвижим. И вечерняя заря будто замерла, ожидая утреннюю. И матросы наши, едва Куликов распустил строй, попадали на землю и замерли, казалось, полностью обессилевшие. Редко кто шевельнется.

Пока я отдавал распоряжения командирам отделений, пока раздумывал, сразу мне лечь спать или сначала пополоскаться в воде, вызвали к комбату. Оказывается, прибыли командир (помнится, майор Лосяков) и комиссар той бригады морской пехоты, для пополнения которой и формировался наш батальон. Они и сказали, что пока наша основная задача — борьба с вражескими парашютистами, что наше место базирования будет здесь. И еще — попросили уже утром начать с матросами занятия по сухопутной тактике.

Начальство уехало, а Куликов задержал нас, командиров, и спросил, что мы помним из сухопутной тактики, как науки, которой через несколько часов будем обязаны обучать матросов? Познания наши оказались более чем скромными, хотя сухопутную тактику мы изучали в училище. Почему так получилось? Дело в том, что разве мог, допустим, я (меня готовили как подводника) предполагать, что она мне пригодится? Считал ее «лишним предметом», который включили в программу нашего обучения исключительно по чьей-то прихоти, ну и постигал ее, чтобы только сдать экзамен и немедленно забить.

Чтобы завтра занятия все-таки состоялись, мы тут же, ночью (благо была пора «белых ночей»), стали выскребать из закоулков памяти застрявшие там крупницы знаний, «объединять их до кучи». И ползали по-пластунски, и змейками перебежки делали, и падали по команде, и накапливались на рубеже атаки...

И тут я заметил, что рядом с нами, командирами, кто-то тоже ползает, бегаёт, падает. Оказывается, наши матросы, которые, завершив пеший переход, повалились на землю словно мертвые, по собственной инициативе вышли на занятия.

Мне кажется, это свидетельствует об очень многом, характеризует наших матросов с лучшей стороны.

Одну ночь и один день занимались мы сухопутной тактикой, а уже вечером, полуживые, еле доплелись до железнодорожной станции, где нас ждал эшелон. Погрузились как могли быстро. И всю ночь, почти нигде не останавливаясь, наш эшелон летел на запад. Я сидел у открытой двери теплушки и вслушивался в ночь, хотел первым уловить эхо артиллерийских залпов...

Очень трудно было нашему батальону в первые дни его пребывания на фронте: и сухопутной тактики мы по-

настоящему еще не знали, и на весь батальон у нас была лишь одна топографическая карта такой древности, что на ней далеко не все деревни и дороги оказались нанесены. Но больше всего нас раздражало то, что мы уже несколько раз рыли окопы, чтобы именно здесь, как говорили нам, и встретить врага. Однако новый приказ уже назавтра вновь бросал нас куда-то.

Прошло несколько дней — все чаще и чаще, все громче и громче матросы стали поговаривать о том, что пора бы и нам вступить в бой. Куликов, которому, похоже, тоже осточертело это хождение батальона в непосредственной близости от фронта, хмурился, без нужды касаясь пальцами своего ордена, но по-прежнему спокойно говорил нам, командирам:

— Одно из главных качеств настоящего военного — умение ждать и выполнять приказ!

Больше недели, повинувшись приказам, метался наш батальон вдоль по фронту и чуть сзади него.

И вдруг, когда наше черно-синее обмундирование уже вобрало в себя предостаточно дорожной пыли, когда артиллерийские залпы стали для нас обыденным явлением, наш батальон послали в окопы первой линии. Это произошло дождливой ночью. Нам сказали, что мы идем для усиления какой-то армейской части, сильно поредевшей за дни боев.

В окопах, вырытых наспех и после недавней бомбежки кое-где заваленных землей, оказалось всего двадцать три человека, которые именовались ротой. Командовал ими сержант Ю. М. Тимофеев — в недавнем прошлом слесарь одного из ленинградских заводов. Одна моя рота (к тому времени прежнего командира старшего лейтенанта Самарина отозвали в Ленинград) оказалась в несколько раз многочисленнее, и невольно подумалось, что ни о каком нашем наступлении и думать нечего, пока в ротах на передовой будет столько личного состава. И еще мы сразу же прониклись самым искренним уважением к этим двадцати трем солдатам, которые здесь упорно удерживали участок фронта, предназначенный для полной роты. И даже чуть больше, чем для роты.

Остаток ночи я провел в хлопотах: проверял расстановку станковых пулеметов, глубину ячеек истребителей танков, инструктировал связных, которых мне прислали командиры взводов и соседи. Даже с комбатом попытал-

ся по телефону поговорить о планах завтрашнего боя, но в ответ услышал:

— Или сам нашей задачи не знаешь? Тогда напомню: держаться здесь, и ни шагу назад без моего приказа.

Будь я один, такой ответ комбата, возможно, и толкнул бы меня на какой-нибудь опрометчивый шаг, но рядом со мной, с того дня, как только я стал командиром роты, находился политрук А. А. Лебедев. Ему было около сорока лет (по моим понятиям того времени — возраст очень солидный). Сухощавый и подтянутый, он никогда не повышал голоса, на собраниях и митингах говорил как-то особенно по-домашнему — спокойно и рассудительно. И постоянная невозмутимость, и разговоры запросто — все это нам очень нравилось. Может быть, даже и потому нравилось, что мы были подводниками, то есть людьми, которые привыкли к определенным условностям, если хотите, назовите их традициями. Например, на подводной лодке, когда она шла под перископом, только командир лодки видел то, что происходило на поверхности моря, там, в непосредственной близости от его корабля. Вот и следили десятки матросских глаз за выражением лица командира, по нему старались угадать то, что ждет их в ближайшие секунды. Истории известны такие факты, когда по дрогнувшим мускулам лица командира матросы догадывались об опасности, грозившей лодке, и случалось так, что волнение командира лишало их спокойствия, и тогда действия, тренировками доведенные до автоматизма, вдруг становились менее четкими, лишались уверенности. А мы все отлично знали, что значило для лодки в боевой обстановке потерять хотя бы секунду. Вот поэтому и ценили невозмутимых командиров, вот поэтому и стремились быть похожими на них. Андрей Андреевич Лебедев таким качеством в совершенстве владел.

Он, Лебедев, тогда и посоветовал мне, несколько обескураженному ответом комбата, подождать до утра — благо до рассвета оставалось совсем немного, — подождать, чтобы выяснить намерения врага. Даже с эдаким подтекстом посоветовал, будто я сам когда-то высказал намерение поступить именно так.

Я был молод и проглотил приманку; уже значительно позднее я понял, что это был своеобразный тактический ход опытного политработника, который хотел и умел щадить самолюбие молодого командира.

И вообще, забегаая вперед, скажу, что мне, как командиру, всю войну очень везло на политработников: они неизменно оказывались человечными и рассудительными, то есть обладали теми качествами, каких мне в ту пору иногда не хватало; уж чрезмерно сильно бродили во мне тогда молодые дрожжи.

Утром, ровно в шесть, на линии наших окопов разорвалась вражеская мина, и с этого момента для нас начался первый по-настоящему фронтовой день, до краев полный минометного обстрела и бомбежек.

Когда первые мины и бомбы начали оглушительно рваться на линии окопов и даже в них, разбрасывая в стороны горячие зазубренные осколки, стало очень неуютно на земле, захотелось немедленно убежать в лес, который плотной стеной стоял почти сразу за линией окопов. Пересилил себя без особого труда, так как до невероятности стыдно было выказать товарищам свое потаенное желание.

И весь тот день фашисты то открывали огонь по нашим окопам, то внезапно обрывали его. Лишь часов около одиннадцати ночи они окончательно прекратили обстрел, теперь только разноцветными ракетами полосовали черное небо.

— Спать укладываются, — невесело пошутил кто-то из бывалых солдат.

Тогда мы не придали особого значения этим словам, но позднее и сами заметили, что в те первые дни войны, владея общей инициативой боя, фашисты зачастую (на тех участках фронта, где я бывал) пунктуально выдерживали распорядок дня, о чем мы и мечтать не смели. Даже перерыв на обед во время боя, случалось, делали!

Первый день пребывания на передовой для нас окончился сравнительно успешно: мы потеряли убитыми только трех и ранеными — восемь товарищей. Конечно, это сейчас, с сегодняшних высот оглядываясь на те давние и одновременно — еще близкие события, я могу говорить, что трое убитых и восемь раненых — малые потери. А тогда, помнится, никто в роте не мог уснуть: ведь еще утром эти трое были живы, полны сил, а теперь наспех зарыты на опушке леса. Очень тогда потрясла нас всех эта гибель товарищей.

Может быть, потому и я так отчетливо помню все это?

А на следующий день, опять начав обстрел наших окопов ровно в шесть, фашисты вдруг пошли в атаку. Она

развивалась точно по науке войны: сначала они обрушили на нас шквальный минометный огонь, от которого в глазах свет померк, а потом выскочили из окопов и, строя из автоматов, понеслись на нас. В подобных случаях некоторые мои собратья по перу частенько пишут, дескать, воздух стонал от пуль. Или что-то в этом же роде. Не знаю, может быть, бывает и так. Но, насколько мне помнится, тогда просто стоял невероятный грохот, из которого выделялись лишь очень близкие разрывы мин.

Впечатляющей была эта первая для нас вражеская атака. Но мы выдержали «психический удар», дождались, когда расстояние между нами и фашистами сократилось метров до ста пятидесяти, и разом ударили по ним из всех видов своего оружия. Напомню, что наш батальон был вооружен автоматами, что в каждой роте мы имели взвод станковых пулеметов (три «максима»), а в каждом отделении — по одному ручному пулемету. И вполне понятно, что когда из всего этого оружия мы ударили по врагу, да еще с такого малого расстояния, фашисты сразу же будто споткнулись, многие из них упали. А через несколько секунд остальные бросились уже к своим окопам.

То-то было у нас ликования! Ведь мы думали, что и дальше у нас все пойдет так же, что мы уже научились восвать.

Не буду подробно описывать все бои, в которых участвовал наш батальон, мне это кажется излишним, тем более, что в то время моя «кочка зрения» — командир роты — была ничтожно мала. Скажу одно: от боя к бою мужал и набирался воинских премудростей наш батальон.

К тому времени мы уже поняли, что это настоящая война, а не пограничный инцидент. Мы уже знали причину наших неудач на фронтах (враг напал на нас внезапно), но в голову невольно лезло: а почему сейчас, когда с начала войны минуло почти три недели, враг по-прежнему идет вперед? Где же главные силы нашей армии? Почему они не вступают в бой? Или высшее командование нашей армии, как и мы, было обмануто мирным договором с Германией?

Мы с жадностью вслушивались в сводки Совинформбюро, в которых говорилось, что в районе Одессы наши войска прочно стоят на занимаемых рубежах. Думали, может быть, это и есть предвестник скорого нашего общего наступления? Может быть, еще немного — и мы то-

же пойдем вперед, пойдем вперед здесь, под Ленинградом?

Конечно, в то время мы еще не могли знать, что враг очень расчетливо выбрал время для нападения на Советский Союз: именно в тот момент, когда наша армия еще не полностью получила на свое вооружение новейшие самолеты и танки, которые по своим тактико-техническим характеристикам даже несколько превосходили немецкие; что в то время у нас на весь огромный фронт было всего 149 дивизий и одна отдельная стрелковая бригада против 158 немецких дивизий, которых поддерживали 3712 танков, 4950 самолетов и 50 тысяч орудий; причем, если в наших дивизиях зачастую было менее 8 тысяч личного состава, то у немцев — 14 и даже 16 тысяч.

Не могли мы тогда знать и того, что наши партия и правительство, еще надеясь договором с Германией на какое-то время все же сохранить мир, весной 1941 года отдали приказ скрытно подтянуть к нашей западной границе 16-ю, 19-ю, 21-ю и 22-ю армии и 25-й стрелковый корпус, а всего за май — 28 стрелковых дивизий и 4 армейских управления.

Очень многого мы тогда не знали. Вот и недоумевали, даже злились, что деремся вроде бы хорошо, вроде бы бьем фашистов подходяще, а Ленинград после каждого нашего боя становится все ближе и ближе к фронту.

Но, что особенно интересовало и радовало, — в людях я открывал какие-то вроде бы даже не свойственные им черты характера, способности, о которых даже не подозревал. Например, мой связной Ольхов, а в недавнем прошлом трюмный машинист — тихоня с нежным девичьим румянцем на щеках, — вдруг оказался прекрасным снайпером.

Началось все с того, что мне на роту дали пять винтовок со снайперским прицелом. Четыре из них я в приказном порядке сразу же вручил матросам, а вот пятой завладел Ольхов и так любовно освободил ее от арсенальной смазки, так нежно гладил рукой ее прицел, что я, напустив на себя серьезность, соответствующую моменту, сказал:

— Эту, Ольхов, оставь себе. Ты, как мой личный связной, помимо всего прочего, еще обязан и охранять мою жизнь, так что...

Я, разумеется, шутил, но он все, сказанное мной, воспринял серьезно, даже встал по стойке «смирно».

Стало неловко, и я поспешил уйти, но Ольхов, как привязанный, двинулся за мной.

Шли дни. Ольхов почти все время был рядом со мной, изредка постреливал из своей винтовки. Но ни разу даже словом не обмолвился, что я, мол, в фашиста попал.

И вдруг в немецких окопах завелся «весельчак»: воспользовавшись тем, что расстояние между нашими окопами в то время было вполне приличным — около трехсот метров, он на довольно правильном русском языке периодически выкрикивал в наш адрес всевозможные гадости и, демонстрируя свою смелость, на короткое время даже высовывался из окопа, и каждый раз там, где мы его вовсе не ждали. Так он обозлил нас, что за ним охотились чуть ли не всей ротой, но...

Вот тогда матросы почему-то и потребовали, чтобы я приказал Ольхову успокоить того фашиста. Народ у нас в роте (и в батальоне — тоже) подобрался веселый, любящий разыграть кого-нибудь. Однажды, например, они вполне серьезно убеждали меня, что старшина 2-й статьи Иван Павлов — точь-в-точь как Лемешев поет, только талант свой раскрыть стесняется. Дескать, попросите, вам он не откажет, ну и сами убедитесь, что мы правду говорим. Я попался на приманку и, к великой радости матросов, улучив сравнительно спокойную минутку, очень вежливо попросил Ивана Павлова спеть что-нибудь душевное. И он «спел»! Оказывается, у него не было ни голоса приятного, ни слуха музыкального.

Мне, конечно, было обидно, что попался так запросто, но рассердиться на матросов не смог: уж очень от души они вместе с Павловым хохотали, видя мое смятение.

Между прочим, это очень приятно, когда твои подчиненные смеются от души.

Вот и теперь я посчитал, что они опять хотят разыграть меня, ну и приказал Ольхову «выйти на охоту». К моему удивлению, матросы, до этого грудившиеся вокруг меня, моментально разбежались по своим местам и замерли, наблюдая за вражескими окопами. Там, казалось, не было ни души. Тогда матрос Константин Метелкин — самый заядлый зубоскал в батальоне — выступил с «речью» в адрес того фашиста. И такой забористой и ядовитой, что не берусь ее пересказывать.

Как и ожидали, фашист немедленно откликнулся, а еще немного погодя один из моих матросов и скомандовал:

— Левый борт, курсовой сорок!

Чуть дернулся влево ствол винтовки Ольхова, и почти сразу же прогремел выстрел. Я сам видел, как «весельчак» сунулся лицом в бруствер. Вот только после этого случая я и заинтересовался успехами своего связного и узнал, что лишь за последние четыре дня он, оказывается, довел свой личный счет убитых врагов до тридцати двух.

Или взять того же Метелкина, о котором я уже упоминал.

Еще в тот период, когда наш батальон метался где-то сзади фронта, среди нас было много разговоров о самолетах и танках врага. Мы тогда еще не понимали, почему большинство раненых, с которыми нам довелось беседовать, свои боевые неудачи связывало именно с ними. Мы, например, уже несколько раз подвергались бомбежкам. Конечно, неприятно, когда из-под облаков на тебя падает бомба, кажется: она нацелена точно тебе в голову. Но ведь терпеть-то можно?

А что касается танков... Мы хорошо помнили, что против них нужно применять связки гранат. Или у нас нет гранат? Или мы не умеем из них делать связки? Да любой из нас так наловчился их мастерить, что, когда дело дойдет до боя, только успевайте, фашистские генералы, свои танки к нашим окопам посылать!

Очень наивными, невероятно наивными были мы тогда. Ни дать, ни взять — фронтовые салажата.

Что такое настоящая бомбежка, мы узнали в первый день своего пребывания в окопах. Дня через два после этого увидели и танки не на параде, а в бою. Должен признаться, что, хотя тогда на нас шли только три немецких танка и утюжили они окопы наших соседей — ополченцев, мы изрядно переволновались: три наших гаубицы, выпустив по несколько снарядов, заглохли, подавленные минометным огнем врага, а взрывы гранат, на которые мы возлагали столько надежд, звучали как детские хлопушки; нам казалось, что танки на взрывы гранат вообще не обращали внимания.

После двух или трех встреч с танками врага мы напроць отказались от связок гранат и артподготовки силами своей гаубичной батареи: только предупреждение фашистам, что здесь затаились истребители танков или что мы вот-вот бросимся в атаку.

А в тот день, когда Метелкин совершил свой подвиг и предстал перед нами в новом качестве, враг бросил в бой

против нашего батальона сразу двадцать танков. Казалось, сама земля дрожала под их тяжестью.

Поверьте, очень неприятно, когда на тебя прут бронированные громадины, строча из пулеметов и стреляя из пушек. И прежде всего потому, что тебе — маленькому и такому уязвимому человеку — они кажутся несокрушимыми, и невольно создается впечатление, что они вот сейчас, через две или три минуты, обязательно вдавят тебя в землю. И надо было иметь крепкие нервы, изрядную силу воли, чтобы заставить себя сидеть в окопе, когда строча из пулеметов и стреляя из орудий, на бойца неслись эти бронированные коробки.

Всем нам было тяжело совладать с собой в такие моменты. А каково приходилось истребителям танков, которые были обязаны не просто усидеть в своих ячейках, но еще и сокрушить эту грохочущую гусеницами смерть?

Тогда нам повезло: между нашими и вражескими окопами лежало зыбкое, заболоченное поле; только по дороге, пересекавшей его, колонной и шли вражеские танки.

Пять танков потеряли фашисты в том бою, и три из них сжег бутылками старший матрос Константин Метелкин.

О его подвиге я уже этим же вечером доложил Куликову и сказал, что мы с комиссаром считаем Метелкина вполне достойным награждения. Капитан-лейтенант внимательно выслушал меня, весь засветился радостью за Метелкина, а потом, когда я замолчал, вдруг спросил:

— Не понимаю, за что его награждать? Только за то, что честно выполнил боевой приказ?.. Объяви благодарность перед строем, и достаточно.

Мы с Лебедевым вместе наседали на Николая Николаевича, но он упрямо стоял на своем.

Конечно, он ошибался, но разве Метелкину, Ольхову, Кашину и другим было легче от сознания этого? И вообще тогда, летом 1941 года, командование было невероятно скупое на правительственные награды. Вот и получилось, что почти полтора месяца наш батальон был в непрерывных боях, обороняя подступы к Ленинграду, но ни один матрос, ни один командир даже медалью не отмечен.

Новый и яркий талант обнаружился и у главного старшины М. Кашина. Я познакомился с Кашиним еще на дивизионе подводных лодок, знал его как прекрасного торпедиста; каждый из нас, командиров БЧ-II-III, мечтал иметь такого помощника.

Теперь этот самый Кашин был командиром отделения во 2-м взводе моей роты. И новый талант его открылся нам после того, как произошло чепе.

Мы уже недели две были в непрерывных боях. Схватывались с фашистами и в рукопашном. Научились и одним огнем — не выскакивая из окопов, не угрожая рукопашной — отбивать вражеские атаки. Короче говоря, из салажат мы уже почти превратились в настоящих фронтовиков. Даже пленных на своем счету имели; и в бою брали, и «языков» из вражеских окопов притаскивали.

Между прочим, что меня поражало — матросы относились к пленным без неприязни: и накормить спешили, и на табачок не очень скупилась, хотя у самих излишков и того и другого не было. Меня злило это, так как из редких газет, которые к нам все же попадали, из разговоров с солдатами, отступившими сюда от самой границы, мы многое слышали о жестокости и зверствах фашистов. Матросы всему этому верили, но почему-то все это считали случайным результатом своеобразных «вывихов» в психике некоторых фашистских солдат и офицеров. Я несколько раз порывался побеседовать с матросами на эту тему, но Лебедев отговорил: дескать, потерял немного, сама жизнь — наш лучший агитатор.

Тот день, когда случилось чепе, начался с яростной бомбежки наших окопов: пятнадцать Ю-87 обрабатывали наши позиции так, что земля, вздыбленная взрывами бомб, солнце прикрыла. Только ушли самолеты — на нас обрушился шквал минометного огня. Особого вреда он, правда, не принес, так как мы, как всегда, большую часть окопов закрыли одним накатом с земляной присыпкой, но нервы потрепал основательно: что ни говорите, а не очень приятно, когда вблизи тебя почти полтора часа непрерывно рвутся вражеские мины.

Потом фашисты, видимо посчитав, что мы, если и не уничтожены, то основательно деморализованы, пошли в атаку. Но не так, как обычно: без единого вскрика вдруг выскочили из окопов и двинулись на нас, выдерживая относительное равнение по всей своей плотной цепи.

Мы, разумеется, открыли огонь. Прекрасно видели, что многие атакующие падали от наших пуль. Но остальные будто не замечали этого и шли вперед, держа автоматы наизготовку.

Казалось, они бесконечно долго шли так, презирая

смерть. Потом враз застрочили из автоматов, завопили и побежали, вернее, понеслись на нас.

Они уже почти достигли наших окопов, когда мы всем батальоном бросились им навстречу.

Трудно описывать рукопашный бой, если ты сам был его участником: ведь и на тебя нападали враги, ведь и тебе тоже приходилось отражать их удары и самому наносить ответные и упреждающие. И после первого такого боя я ничего вообще не мог рассказать: для меня все поле боя закрыл вражеский солдат, который почему-то хотел обязательно задушить меня, хотя на груди у него болтался автомат, а на поясе — нож.

В том бою, когда случилось чепе, я уже многое видел, но рассказать обо всем виденном — будет только россыпь эпизодов, не связанных друг с другом. Поэтому одно скажу: сейчас, с дистанции более тридцати лет, я не могу вспомнить, с чего и когда это началось, но в рукопашном бою мы всегда дрались маленькими звеньями — от трех до пяти человек. Мне кажется, что этот тактический прием ведения рукопашного боя родился сразу, мне кажется, что кто-то из матросов сразу же вдруг понял, что значительно удобнее, безопаснее, когда спину твою прикрывает товарищ. Вот и появились в нашем батальоне, как и в авиации, «ведущие» и «ведомые». С той разницей, что сама обстановка, а не приказ командира определял, кому сегодня кем быть.

Так вот, рукопашный бой на какое-то короткое время вспыхнул по всей линии окопов нашего батальона, а потом, как бывало уже не раз, фашисты бросились наутек. Мы — за ними. Намеревались ворваться в их окопы, но по нам так дружно и точно ударили их минометы и пулеметы, что мы поспешно откатились на свой рубеж обороны.

В этом бою мы потеряли многих хороших товарищей, а самое неприятное, непоправимое — не успели с поля боя унести наших павших. Среди тех, кого в горячке боя мы посчитали убитыми, оказался бывший донецкий шахтер Александр Сухомлинов. Тяжелораненый, он упал в нескольких шагах от вражеских окопов.

А до этого случая наш батальон был известен и тем, что обязательно, как бы трудно ни было, мы выносили с поля боя и раненых, и павших. И каждый из нас истово верил, что случись с ним беда — товарищи не бросят его. И вдруг...

Мы стыдились смотреть друг друга в глаза.

И тут наблюдатели закричали, что из вражеских окопов на поле недавнего боя выскользнули два солдата, поползли к Сухомлинову. Мы, конечно, немедленно прекратили огонь, так как считали, что они хотят оказать помощь нашему раненому товарищу; мы, например, раненым немцам всегда помогали.

Но эти мерзавцы под Сухомлинова подложили взрывчатку.

Первым желанием, когда прогрехотал взрыв, было — броситься на штурм вражеских окопов. Но отрезвляюще подействовала выжидательная тишина, царившая там.

Многие из нас тогда плакали от бессилия. Очень многие плакали. И все вдруг поняли, какой коварный и невероятно жестокий враг перед нами.

После этого случая у нас кое-кто стал поговаривать: дескать, брать в плен надо лишь тех, кто сдавался до боя. И, как мне кажется, это было правильно. А то ведь как иной раз получалось? Несешься на вражеские окопы и видишь, как какой-то фашист-автоматчик яростно строчит по тебе. Настолько яростно, что попасть не может. Но вот ты подбегаешь к нему, самое время для твоего решительного удара, а он в этот момент возьми и «вздерни руки до тучки», как острили матросы.

И ты берешь его в плен, вежливо препровождаешь в тыл, где во время его допроса и узнаешь, что у него в магазине автомата патроны кончились как раз в тот момент, когда ты к нему подбежал. Вот он и сдался.

Случившееся так потрясло весь батальон, что ночью к нам пришел Куликов, не ругался, не кричал, только все спрашивал у нас:

— Как же это так, дорогие мои, получилось?

Этой же ночью Кашин, считавший себя главным виновником случившегося (Сухомлинов был из его отделения), спросив на то у меня разрешение, ушел к фашистам в тыл.

Теперь, конечно, несколько смешно, даже наивно выглядят и этот его поступок, и мое разрешение, теперь, конечно, ясно, что мне тогда нужно было просто прикрикнуть на Кашина, дескать, сиди здесь и в грядущих боях мсти за товарища. Но тогда я искренне считал, что мы должны были только так и поступить.

Кашин вернулся дня через три или четыре и привел одного из офицеров той самой роты, солдаты которой

взорвали Сухомлинова. Мы с интересом и некоторым недоумением рассматривали этого фашиста: до этого с эсэсовцами не встречались, только слышали о них. Внешне он — человек как человек, а ведь стал соучастником (или вдохновителем?) такого жуткого преступления! Почему? Или не мать его родила?

Держался он высокомерно, снисходительно поглядывал только на меня, всех прочих будто вообще не замечал. Словом, держался так, словно не он у нас, а мы у него в плену. Но как только он понял, что мы не намерены с ним церемониться, все фанфаронство слетело с него: он и плакал, и молил о пощаде, и порассказал нам такое, что командование, ознакомившись с его показаниями, приказало моей роты по следам Кашина пройти во вражеский тыл и в обусловленный час, когда наши начнут наступление с фронта, ударить по фашистам с тыла.

Вот так мы и открыли в Кашине уже не торпедиста-золотые руки, а разведчика, ставшего вскоре гордостью всего нашего батальона. Да и на мою военную биографию этот поход с ротой в ближний вражеский тыл, как мне кажется, тоже наложил свой отпечаток. Но об этом — позднее...

Почему же все-таки выбор командования пал на мою роту? Прежде всего потому (и это бесспорно), что Кашин был бойцом моей роты. Как мне кажется, не осталось без внимания и то, что дней за восемь до этого я схлопотал строгий выговор от Куликова, схлопотал «за беспечность, мальчишество и разгильдяйство, граничащие с преступлением».

Я и сейчас отлично помню, как все это изрек Николай Николаевич, тыча пальцем в мою грудь так яростно, словно хотел пробуравить ее.

Каюсь: самовольно, взяв с собой двух матросов, ночью я сползал к фашистам за «языком». Все обошлось благополучно, приволокли мы ефрейтора, хотя и действовали без должной подготовки. Короче говоря, на этот раз счастье улыбнулось нам.

А гневался Куликов (справедливо гневался) на меня за то, что я, будучи командиром роты, решил все по-мальчишески, на свой страх и риск.

Видимо, вот этот мой «партизанский» поступок и повлиял на решение командования о том, кого послать с Кашиним в тыл врага.

Фронт мы перешли до невероятного просто, обыден-

но, чему во многом способствовало то, что фашисты тогда были еще слишком самоуверенны, не ожидали от нас такого маневра; да и рвались они к Ленинграду по дорогам, очень небрежно поглядывая на заболоченные леса, остающиеся у них на флангах и в тылу.

Перешли фронт, оказались во вражеском тылу, и тут случилось то, что бывает только в жизни, напиши об этом в романе — не поверят: ту самую роту эсэсовцев, солдаты которой так зверски убили Сухомлинова, сняли с передовой, теперь она с карательными целями шла по деревням.

Страшен был след этой роты. Там, где она побывала, все было сожжено. Даже печи по кирпичику развалены. А жители — женщины, дети и старики — зверски замучены.

В одной из деревень, название которой стерлось в моей памяти, я еще раз увидел, как Лебедев умел быть агитатором. Он, прекрасно понимая душевное состояние матросов, не произносил речей, он только ходил и ходил от пожарища к пожарищу, от одной кучи трупов к другой. Потом взял саперную лопатку и начал рыть братскую могилу.

Все, увиденное в этой деревне, так потрясло меня, что я повел своих людей по следам роты эсэсовцев, воспользовавшись тем, что до указанного в приказе часа у нас оставалось еще чуть больше двух суток.

Разумеется, я понимал, что рискую не выполнить приказ и тогда не миновать мне знакомства с военным трибуналом, который, как известно, по головке не гладил. Но желание отомстить было столь велико у всех, что даже Лебедев не сделал попытки отговаривать меня от этой затеи.

Настигли эсэсовцев мы следующей ночью. Фашисты, «порезвившись» вдоволь, напились и беспечно спали по хатам, выставив лишь парные посты на входах в деревню.

Посты мы сняли быстро и бесшумно. Так же бесшумно проникли и в хаты.

Две противогазные сумки набили мы тогда немецкими солдатскими книжками, офицерскими удостоверениями и прочими самыми различными документами.

Ночью же и пошли дальше, чтобы в срок выполнить приказ. Почти одновременно с нами деревню покинули и уцелевшие жители, перебив птицу, угнав с собой скот. Тогда я впервые увидел людей, покидающих свои жили-

ща. Очень тягостным было это зрелище. Может быть, еще и потому, что никто не плакал, не причитал.

Удар нашей роты, нанесенный с тыла и точно в тот момент, когда батальон вел наступление, победно в нашу пользу решил еще один бой.

Много мне помнится боев, после которых поле битвы оставалось за нами. Но проходило какое-то время, и мы опять отступали, оставляя за собой еле приметные холмики земли, под которыми покоились наши товарищи. Много подобных холмиков обозначило путь отступления нашего батальона.

Однажды между нами и фашистами легла безымянная речка с заболоченным левым берегом, занятым врагом. Двое суток мы стойко держались здесь, отражая врага, и сотни полторы фашистских солдат остались лежать меж кочек левого берега. К концу вторых суток, когда солнце уже пряталось за лес, на том, левом, берегу вдруг появилась толпа женщин, детей и стариков. Человек шестьдесят их было.

Сначала мы думали, что среди них есть переодетые фашистские солдаты. Потом решили, что за спинами этих людей враг и попытается форсировать речку, прикрываясь ими как щитом.

Мы полностью прекратили огонь, приготовились к рукопашной схватке.

А люди шли к нам. Шли обреченно, даже не глядя в нашу сторону.

И когда некоторые из них оказались уже в речке, какой-то фашист прокричал на ломаном русском языке:

— Русс, нам не надо твой папа и мама!

Всех до единого — женщин, стариков и детей — перестреляли фашисты.

Эти случаи — убийство Сухомлинова, действия карателей и расстрел мирных жителей, вся вина которых заключалась только в том, что они были советскими, — навсегда определили мое отношение к любому фашизму. Да и только ли мое?

Отступая, мы оставили и Большое Рудилово, и Веймари, и Волосово, и Ломахи, и Копорье. Дыхание Ленинграда уже чувствовалось за спиной, а мы все отступали. У меня нет слов, чтобы достаточно ярко передать тогдашнее наше душевное состояние.

И еще: мы недоумевали, искали и не находили причин, которые хотя бы частично объясняли наши общие военные неудачи. Но даже и тогда никто из нас мысли не допускал, что мы можем проиграть войну, что колонны врага под победоносные марши будут топтать по улицам Ленинграда. И вера наша в незыблемость всего советского, всего, что утверждалось партией, была настолько велика, что однажды, помнится, мои матросы, основательно помяв, доставили ко мне одного армейского командира. Они посчитали его вражеским лазутчиком только за то, что он сказал: не все наши генералы соответствуют своему высокому воинскому званию.

Случалось и так, что наш батальон, который частенько передавали в оперативное подчинение то одной, то другой дивизии армии или народного ополчения, стойко удерживал свои позиции и сутки, и более, чтобы вдруг обнаружить, что враг, выставив против нас заслон, продвигается к Ленинграду по соседней дороге. Тогда мы спешили перехватить его. И перехватывали. И сдерживали какое-то время, чтобы потом опять все повторить сначала.

Следует сказать и о том, что фашисты люто ненавидели нас, при малейшей возможности стремились обязательно убить. Так, я неоднократно сам видел, как какой-нибудь немецкий самолет гонялся за матросом-одиночкой. Пикирует самолет на этого смельчака, а тот стоит и еще помахивает ему бескозыркой, дескать, с приветом!

Кажется, уже не ускользнуть матросу от горячей очереди, кажется, она намертво пришьет его к земле, но в самый последний миг матрос отпрянет в сторону и... снова стоит, скалится в пренебрежительной улыбке!

Да и со мной в тот период произошел случай, врезавшийся в память на всю жизнь.

Тогда, срочно сменив позицию, чтобы перехватить небольшую колонну фашистов, мы с начальником штаба батальона старшим лейтенантом Мухачевым (единственным в нашем батальоне армейским командиром) основательно обогнали наш батальон и производили осмотр местности. День был солнечный, теплый, и мы наслаждались коротким отдыхом. Помню, даже поговаривали: а не вздремнуть ли нам минуток пятнадцать или тридцать?

И тут из лесочка, к опушке которого мы беспечно подходили, выскочил немецкий легкий танк. Его появление было столь неожиданным, что мы с Мухачевым рас-

терялись, ничего лучшего не придумали, как бежать от него. Да и побежали-то не в разные стороны, как того здравый смысл требовал, а рядышком.

Конечно, срезать нас из пулемета танкистам ничего не стоило. Но они решили обязательно раздавить нас гусеницами. Вот и металась по полю два моряка и танк, куда они — туда и он.

Силы уже покидали нас, когда я увидел яму для телеграфного столба и, не раздумывая, нырнул в нее вниз головой. Через доли секунды на меня упал Мухачев.

И оказались мы с Мухачевым в положении — глупее не придумаешь: стоим в узкой яме вниз головой и даже до оружия дотянуться не можем. Как говорится, подходи и бери нас голыми руками. Однако ненависть толкнула фашистов на другое решение: их танк гусеницами стал сгребать землю в яму: мы поняли, что нас намерены похоронить заживо.

А что мы могли противопоставить?..

Вдруг земля вздрогнула от близких разрывов снарядов. Настолько близких, что песчинки заструились по стенкам ямы. А еще через несколько секунд немецкий танк отполз в сторону, потом последовал удар, от которого я на какое-то время оглох...

Когда пришел в себя, прежде всего заметил, что гула мотора танка не слышно. Тогда и сказал старшему лейтенанту Мухачеву, что хватит ему лежать на мне, пора бы и выбираться из ямы. Он ответил:

— Слушай, я, кажется, ранен...

Не знаю как, но я все же выбрался из ямы, затем вытащил товарища. Он действительно оказался весь продырявлен осколками снаряда, которым фашисты хотели расцарапать с нами. Да и на мою долю кое-что из осколков перепало.

Как мы потом узнали, спасли нас наши артиллеристы, которые прибыли на новую огневую позицию как раз в тот момент, когда мы в скорости и маневренности состязались с танком. А сразу не открыли огонь потому, что боялись нас подбить.

У старшего лейтенанта Мухачева теми осколками были перебиты сухожилия на ногах, и его отправили в госпиталь. А на меня ротный санитар извел пузырек йода, и этим все кончилось, если не считать того, что в послевоенные годы осколки-бусинки стали настойчиво напоминать о себе.

Это был первый и последний случай, когда мы вышли на местность без предварительной разведки. А разведка у нас была — лучше не надо. Взять того же Сашу Копысова, с которым мне посчастливилось пройти всю войну. Однажды из разведки он вернулся верхом на... «языке»! Да, да, оседлал вражеского солдата и приехал на нем!

Оказалось, уже взяв «языка» и возвращаясь обратно, Саша оступился и вывихнул ногу. Попробовал ползти — стыдно стало: «язык» идет, а «хозяин» по земле у его ног извивается, да еще отстаёт, просит подождать. Вот тогда, приставив пистолет к голове фашиста, он и взгромоздился на него.

Или взять Сергея Орлова — тоже моего матроса. Он с товарищами находился в «секрете», когда на них напоролась вражеская разведка. Конечно, наши открыли огонь, но поторопились: только два вражеских солдата грохнулись, а все остальные метнулись в ночь. Опыта тогда у нас было маловато, а безрассудной удали — хоть отбавляй; ну и бросились мои ребята в погоню. Один Орлов остался на месте «секрета». Да и то ничего лучшего не придумал, как подойти к упавшим врагам. Подошел, глянул, а они сжимают автоматы и на него глазами зыркают. И тогда Орлов выхватил из-за пояса пистолет-ракетницу и направил на фашистов ее широченный ствол.

Ночь ли помогла, какая ли другая причина, но фашисты здорово перетрусили при виде этого «оружия». Настолько перетрусили, что, когда наши вернулись из бесплодной погони, одного из фашистских вояк пришлось в кусты срочно сводить.

Да, замечательные люди были в нашем батальоне!

Нет, я вовсе не настолько ослеплен воспоминаниями о своем батальоне, чтобы утверждать, будто он был каким-то особым, выдающимся, хотя при формировании его был строго выдержан принцип отбора лучших из лучших. Как мне кажется, нашу высокую боеспособность можно объяснить тем, что мы были вооружены лучше, чем ополченцы и даже армейцы; что все-таки здорового матроса, как воина, трудно равнять с ополченцем — вчерашним рабочим, служащим, актером, художником или ученым; что нас накрепко связывала воедино настоящая дружба, зародившаяся на подводных лодках или того раньше. Например, в самом первом бою мне было страшно, так и подмывало убежать из окопов, но я пересилил себя. Причин, поясняющих, почему мне это удалось, разумеется, много,

но среди них не на последнем месте было и то, что в это время рядом со мной был командир 2-го взвода моей роты Леонид Милованов, с которым мы дружили еще с первого курса училища.

Окончился бой, мы немного успокоились, и как-то так само собой получилось, что заговорили о недавнем бое, о своих ощущениях. И тогда оказалось, что и ему наша дружба помогла осилить страх.

И еще об одном факте из военной биографии нашего батальона мне просто обязательно нужно рассказать.

Кажется, где-то в районе Большого Рудилова мы попали в окружение. Мы тогда по-прежнему именовались батальоном, хотя было нас всего около ста. Вместе с нами во вражеском кольце оказалось еще примерно столько же ополченцев — бывших рабочих и служащих Кировского завода.

Я был у Куликова, когда прибежал разведчик и доложил, дескать, так и так, фашисты окружили нас. Неприятный холодок пробежал у меня по спине. А Николай Николаевич этак спокойненько спросил у разведчика:

— Ты, дорогой мой, никак болен?

— Никак нет, здоров, — ответил тот.

— С чего ты тогда заговариваться начал?

— Точно докладываю, окружили они...

— Вот и ошибаешься: не они окружили нас, а мы заняли круговую оборону! — перебил его Николай Николаевич и отпустил кивком.

Мне лично понравилась и на всю жизнь запомнилась эта формулировка, ибо я и сейчас вижу главное: капитан-лейтенант Куликов ни в каких обстоятельствах не хотел и не мог видеть себя пассивной стороной.

Заняв «круговую оборону», мы бились еще дня три или четыре. Правда, фашисты на нас сильно и не наседали, похоже, надеялись, что рано или поздно, но мы сами сложим оружие.

Командование бригады, как сообщили нам по радио, предприняло несколько попыток выручить наш батальон, даже танками пыталось разорвать вражеское кольцо вокруг нас, но...

Тогда и зародился у нас план самостоятельного прорыва. И был он предельно прост: ночью, перед рассветом, неслышно подползти к вражеским окопам и обрушиться на фашистов, работая в основном ножами и прикладами, так как патронов у нас почти не было; чтобы в темноте

свои своих не перебили, всем — и матросам, и ополченцам — было приказано идти в атаку обнаженными по пояс. И прорываться из кольца не на восток, а на запад, где нас меньше всего ждали.

Прорыв удался, так как был он дерзок, неожидан и нов по своему замыслу. А еще через несколько дней мы почти без потерь проскользнули через линию фронта и вновь заняли свое место среди воинов, защищавших Ленинград. И настроение было бы вовсе прекрасное, если бы при прорыве вражеского кольца от пули не погиб Лебедев.

Не стало его в роте — я сначала растерялся, мне было невероятно трудно и больно знать, что теперь никто дружески не ободрит или не отругает меня, не посоветует самое нужное. Именно теперь я вдруг понял, как много значил Лебедев не только для меня, но и для всей нашей роты, как прочно в роте пустило корни все то, что он сделал при жизни; и после смерти Лебедева все в роте шло так, как при нем. И стоило кому-то хотя бы на мгновение усомниться, допустим, в целесообразности политинформации именно в это время, а не в другое, как немедленно находился человек, который говорил так или что-то подобное:

— Думаешь, ты умнее комиссара?

Сопrotивление немедленно прекращалось, да еще и так, словно его и не было вовсе.

И бои во вражеском окружении, и прорыв его, и последующий переход по вражеским тылам к линии фронта, во время которого мы основательно «пощипали» некоторые фашистские части, находившиеся на марше, и уничтожение вражеской минометной батареи — все это как бы открыло мне глаза на неограниченные возможности советского человека, я стал окончательно и безгранично верить своим матросам и верить в них; они стали для меня своеобразным эталоном служения Родине. И эта вера моя в их сплоченность, силу и воинское умение была так велика, что прикажи мне командование в ту пору углубиться во вражеский тыл хоть на пятьсот, хоть на тысячу километров и сделать там то-то и то-то, я без душевных колебаний приступил бы к выполнению этого задания, так как считал бы его вполне реальным.

Верить-то в своих матросов я верил, считал их даже

эталонном воина, но по молодости своей не старался проникнуть в глубину души каждого из них, чтобы по-настоящему познать всю красоту, все величие ее.

А позднее, хотя мы дважды и получали пополнение, в нашем батальоне осталось только пятьдесят два человека. Но район для обороны нам отводили, как помнится, полный или даже чуть больше. И мы обороняли его. Даже у себя в ротках находили «резервы», чтобы атаковать врага с его флангов или даже с ближнего тыла. Водить матросов в эти рейды неизменно приходилось мне. Во время одного из таких походов в заболоченном лесу мы и столкнулись с фашистами, которые, похоже, с какой-то целью пытались проникнуть в наш тыл. В чем моя бесспорная вина — мы почему-то шли без разведки и походного охранения. Конечно, в свое оправдание я мог бы сказать, что и было-то у меня в подчинении во время того рейда всего чуть больше двадцати человек (все, что к тому времени уцелело от роты), что почти каждый из них, кроме автомата, тащил еще диски к ручному пулемету или коробки с пулеметными лентами для станкачей. Так из кого же мне было формировать разведку и походное охранение?

Но в душе-то я виновным считаю себя. Виновным в беспечности, самоуспокоенности.

Мы увидели фашистов, когда между нами было метров десять или пятнадцать. Ударили по ним из ручных пулеметов и автоматов, но один из фашистов (мне кажется, что я и сегодня узнал бы его) все же двумя пулями попал мне в грудь. Попал чуть пониже сердца.

Ноги сразу подогнулись, и я упал.

Фашисты находились от меня в нескольких шагах, я был тяжело ранен, комсомольский билет лежал у меня в нагрудном кармане кителя, и все же страха за свою жизнь я не испытывал: верил, что матросы обязательно живым вытащат меня из этого боя. Почему так верил в это? После того случая с Сухомлиновым мы ни одного товарища своего (даже мертвого) не оставили на поле боя.

Действительно, только я упал, и сразу же матрос Сергей Орлов заглянул мне в глаза и объявил:

— Живой! Берем его!

И меня взяли за руки и за ноги, понесли подальше от автоматной и пулеметной стрельбы, которая в лесу звучала особенно яростно, неистово.

ОДИН РАЗ О ГОСПИТАЛЕ И ДОМЕ

Жизнь чуть теплилась во мне, когда меня привезли в Ленинград и положили в больницу имени Мечникова, которая в то время уже была военным госпиталем.

Не буду описывать госпитальную палату, в которой я оказался, и процедуры, обрушенные на меня врачами. Из того периода моей жизни хочется отметить то, что именно тогда, во время нахождения в госпитале, я кое-что узнал о деятельности нашего тыла, в каком-то ином свете увидел и тружеников его. И это легко объяснимо: на фронте мы нерегулярно получали газеты и почти не слышали радио; да и письма из дому являлись событием довольно редким, так как писали нам на адреса подводных лодок, и лишь оттуда письма отправлялись в погоню за нами. Так что о жизни нашего тыла мы знали более чем мало. Да и о том, как обстоят дела на всех фронтах, мы на передовой имели очень приблизительное представление. И теперь, оказавшись на госпитальной койке, я с жадностью, которой никак не предполагал обнаружить в себе, впитывал сообщения о том, что под Одессой столько вражеских трупов смердило, что фашистское командование взмолилось о перемирии; что такой-то завод с Украины эвакуировался на родной мне Урал и вот-вот начнет давать (может быть, и дает?) теперь уже военную продукцию; что на заводах рабочие живут в цехах, домой лишь «увольняются» по разрешению начальства. и так далее и тому подобное.

Узнал я в госпитале и общественниц — прекрасных советских женщин, которые, отработав на производстве, спешили к нам, чтобы хоть как-то облегчить наши страдания, хоть как-то помочь нам.

Здесь, в больнице имени Мечникова, я впервые познал и бомбежку тылового города. Не знаю, как другим раненым, а мне она показалась ужасной: те, кто был ранен легко, ушли в убежище, туда же унесли и лежащих, которых можно было шевелить, а мы — несколько лишенных возможности шевелиться человек — лежали на своих койках и с тоской вслушивались в гул моторов вражеских самолетов, в стрельбу зениток и вой падающих бомб.

Поверьте, это невероятно тяжело лежать вот так, неподвижно, и ждать, не в тебя ли попадет очередная бомба.

Здесь же, в больнице имени Мечникова, я почувствовал и то, что наш батальон, хотя он почти полностью по-

гиб в боях, не забыт флотом: ко мне приходили и командиры-подводники, и сам адмирал — командир Отряда вновь строящихся подводных кораблей. Они принесли шоколад и прочую снедь, и самое главное — одарили меня теплом своих сердец в такой степени, что будь я здоров, немедленно опять ушел бы на фронт и бился бы там с врагами, славя дружбу моряков Балтики.

Очень мало я помню из этого периода, так как почти все время был без сознания или под воздействием обезболивающих наркотиков. И про друзей-подводников я упомянул лишь потому, что этот факт мне подтвердила вся палата, с удовольствием уничтожавшая продуктовую часть их подарка, а цветы — настоящие живые цветы! — это было оставлено мне.

Цветы дня три стояли на тумбочке около моей койки, а потом, когда одна из бомб рванула рядом с госпиталем, банка с цветами упала на пол и разбилась. Усталые санитары цветы выкинули вместе с осколками окон и моей банки.

А под вечер они же, эти же санитары, вдруг водрузили мое тело на носилки и утащили из палаты, ставшей родной. Только и успел — кивнуть соседу.

Пока грузовик, в кузове которого я лежал, резво бежал по Ленинграду, я видел лишь окна верхних этажей домов, перекрещенные полосками бумаги, и аэростаты, бесшумно парившие в сером небе. Но и этого было вполне достаточно, чтобы понять главное: город не собирался сдаваться на милость врага.

В санитарном эшелоне меня уложили на среднюю полку, и так, что я, даже только повернув голову, мог смотреть в окно. Позиция для наблюдения — лучше не придумаешь, но тряска вагона растревожила мою рану, и почти весь путь я был в забытьи. Только и помню, что на станциях, через которые мы проезжали, все пути были забиты эшелонами с оборудованием заводов и эвакуированными. Еще помню встречные эшелоны с войсками. Это радовало: я знал, как нужны были сейчас на фронте эти солдаты. Но куда торопились эти эшелоны — угадать не мог, одно знал точно: не в Ленинград. Ведь, если верить тому, что уловил из отрывочных реплик санитаров и медсестер, мы — последний эшелон, проскочивший станцию Мга.

Не знаю, как другие, а я почему-то верил этому, хотя медики в моем представлении были самыми отъявленными

ми лгунами. Дело в том, что за несколько дней до ранения в грудь вражеский осколок вспорол мое левое плечо. Рана эта, разумеется, болела, но вполне терпимо, рука действовала почти нормально, ну и оставался я в строю. Нет, я не считал и не считаю это каким-то подвигом: у нас в батальоне матросы и с более серьезными ранениями отказывались уходить из окопов; я просто как мог следовал их примеру.

А потом, когда вражеская очередь нашла мою грудь, беды враз навалились на меня: так разболелось раненое плечо, что я шевельнуть рукой не мог; после в медсанбате ночь пролежал на земле и подхватил еще и воспаление легких. Так что комплекс болячек, которые прилепились ко мне, был внушителен. Я прекрасно понимал, что нахожусь на грани между жизнью и смертью (а жить мне в то время хотелось, пожалуй, как никогда раньше). Поэтому часто и спрашивал о состоянии своего здоровья у врачей, медсестер и даже у нянечек и санитаров. Безусловно, большинство их не имело ни малейшего понятия об этом, но, однако, все они заявляли, что здоровье мое — лучше не надо, еще неделя — и на танцы проситься стану.

А мне ли тогда было думать о танцах?

И еще одну ошибочку совершили тогда же дорогие медики. Мне, как они считали, совершенно беспомощному, кто-то из них на грудь положил в конверте историю моей болезни. Этот неизвестный мне медицинский работник предполагал, что конверт всю дорогу так и пролежит у меня на груди. Но я дотянулся до него, достал историю болезни и прочел, что я «нетранспортабелен и только чрезвычайная близость фронта» вынудила медиков погрузить меня на эту полуторку, переваливавшуюся с одного ухаба на другой.

За годы войны я был ранен четыре раза, следовательно, имел возможность хорошо познакомиться с медиками. И в моем представлении все они — немножечко лжецы. Правда, их ложь — святая ложь. Однако, поверьте, дорогие читатели, я искренне уважаю всех медиков за самоотверженность, с которой они боролись за наши жизни. Если бы не это — сколько бы нас, раненых фронтовиков, преждевременно нашло бы покоя или без нужды всю жизнь осталось бы инвалидами?

Наш санитарный эшелон шел медленно и так долго, что мои раны открылись, и где-то после Кирова я окон-

чательно потерял сознание. А когда очнулся, прежде всего почувствовал неподвижность своего ложа. Это было только радостно, принёсло такое облегчение, что, боясь утратить свое счастье, я робко приоткрыл глаза. Сразу же увидел несколько пар сапог и рабочих ботинок, запачканных не грязью фронтовых дорог, а мазутом. И пахло от окружающих меня людей очень хорошо — ветрами, непогодой и смазкой, то есть точно так же, как от родных моему сердцу чусовских железнодорожников.

— Где я? — удалось мне выдать из себя.

— На Урале, братишка, на Урале! — ответила какая-то женщина.

То, что я на Урале, это мне было ясно (помнил, как мы проехали Киров), но где именно? Похоже, мое волнение было так велико, что его заметили и поспешили уточнить:

— В Перми... Слышал, есть такой город на Каме?

В Перми... Дома...

В семье нашей, если не считать дедушки, все были су-убо гражданскими людьми: бабушка, мама и я. Дедушка был фельдшером и в этой должности даже участвовал в последней русско-турецкой войне, за что имел какую-то медаль. Зато в нашей семье постоянно жила память о дяде Коле (мамином брате), который был командиром роты и погиб под Глазовом в боях с колчаковцами. И сколько я помню, мне всегда в самый критический момент, когда никакие другие доводы уже не действовали, говорили примерно так:

— А дядя Коля сам и без напоминаний чистил бы...

— А дядя Коля был очень сильным (и обязательно показывали его фотографию). Почему был сильным? Он каждое утро занимался гимнастикой...

Может быть, специалисты этот метод моего воспитания сочтут в какой-то степени порочным, может быть, нем, действительно, не все шло «от науки», но факт остается фактом: стоило упомянуть о дяде Коле — я немедленно бежал чистить зубы, ел даже манную кашу и спешил к открытой форточке, чтобы около нее несколько минут помахать руками.

Дедушка, как мне помнится, никогда не рассказывал о войне, хотя я частенько приставал к нему с вопросами

о ней. Лишь однажды, когда я, до глубины своей детской души взбудораженный рассказом В. Гаршина «Четыре дня», особенно настойчиво выспрашивал у него, правда ли все, что здесь написано, он ответил, почему-то сожалючи глядя на меня:

— Понимаешь, внучек, на войне все вроде бы и так, как пишут в книгах, и вовсе не так. — Помолчал и добавил: — Когда ЭТО нужно Отечеству, вся личная философия — чепуха.

Мне было тогда лет девять или десять, но по интонации голоса дедушки понял, что он имел в виду под словом ЭТО. Понять — понял, даже запомнил, но в глубину мысли не смог проникнуть; мал был, да и голова моя тогда, к сожалению, была больше занята думами о рыбалке или футбольном матче нашей уличной команды с командой поселка Чунжино. Да разве у меня в те годы было мало своих ребячьих забот?

В школе № 8 (ныне школа № 75) на станции Чусовской я учился хорошо, окончил ее с отличием, но, к стыду моему, почти до последнего года учебы мою маму нет-нет да и приглашали на педсовет или к директору. И причина всегда была одна: ее «дите», глядишь, и выкинет какое-нибудь коленце. Например, однажды я умудрился прочитать сочинение (домашнее задание), глядя в пустую тетрадку. Все шло, казалось, нормально, но Анна Ивановна Рубан — наша литераторша и классная руководительница — сразу же разоблачила меня: попался на том, что, прочитав довольно объемное сочинение, умудрился не перевернуть ни разу хотя бы страницу.

Мои проступки были порождены излишком энергии, а не злыми намерениями, но они, как я позднее понял, мешали нормальному ходу учебного процесса. А тогда в нашей школе работал замечательный коллектив учителей — М. М. Парфенов, М. А. Коровиченко, М. К. Исакова, А. И. Рубан, А. В. Нечаева, Ф. Б. Касьянов, З. П. Дружинина, И. И. Завалин и другие, которые наше обучение и воспитание считали делом серьезным и дисциплину в школе ставили во главу всего. О всех о них у меня остались самые лучшие воспоминания.

Правда, не всегда прегрешения мои были такими тяжелыми, какими они рисовались педагогическому совету или директору школы. Однажды, например, на уроке я просто задумался о чем-то постороннем, и вдруг учительница спрашивает:

— Селянкин, что ты там делаешь?

Я сидел в самом дальнем от нее углу и оттуда почему-то ответил так:

— Мышь ловлю.

Учительница была молода, чрезмерно самолюбива, не смогла своевременно установить с нами делового контакта, во всем старалась увидеть только плохое, поэтому моментально выскочила из класса, а еще минут через десять я был уже выдворен из школы со строжайшим наказом:

— Без мамы не приходи!

Возможно, эта злополучная «мышь» и оказалась бы для меня роковой, если бы не Рубан, прекрасно изучившая всех нас и особенности наших характеров. Она не поверила рассказу молодой учительницы, после занятий задержала весь класс и узнала правду.

Когда я учился в школе, мной и овладело неодолимое желание стать обязательно военным моряком. И случилось это потому, что мне повезло: в те годы я очень много читал, и среди множества книг, прочитанных мной тогда, оказались чуть ли не полное собрание К. Станюковича и другие произведения о морях вообще и об их подвигах в годы гражданской войны. Впечатление от прочитанного было настолько велико, что мне страстно захотелось, подобно тем морякам, о которых я узнал из книг, «рвануть на груди тельняшку» и, презирая смерть, броситься на вражеские пулеметы.

И форма, красивей которой нет ничего на свете, конечно, тоже сыграла немалую роль.

Рубан одной из первых разгадала мои мечты и однажды предложила мне прочесть роман Л. Соболева «Капитальный ремонт». Мне не хотелось огорчать Анну Ивановну, и я взял книгу, прочел ее. И с тех пор этот роман — одно из любимых моих произведений, которое я готов перечитывать до бесконечности. И если раньше, читая маринистов, я восхищался и любовался только замечательными людьми — русскими и советскими военными моряками, — то теперь увидел и огромную силу Военно-Морского Флота, был покорен ею. И после этого мечта стать военным моряком окончательно обосновалась в моем сознании. У одного из одноклассников (Толи Терещенко) я даже выменял старую тельняшку и с гордостью напялил ее на себя.

Мое желание стать военным моряком зародилось, бес-

спорно, и потому, что тогда — в начале тридцатых годов — вся наша страна жила подвигами советских воинов во время конфликта на КВЖД и при охране наших государственных границ. Мы, комсомольцы, тогда ежечасно помнили о своем шефстве над Воздушным и Военно-Морским флотами, гордились этим и, когда окончили десятый класс, пятеро нас (из шести парней-соучеников) немедленно подали заявления в военные училища. А еще через два месяца с путевкой комсомола я прибыл в Ленинград, стал курсантом Высшего военно-морского училища, которое по классу подводного плавания и окончил в марте 1941 года:

В 1937 году стал я курсантом, а вскоре после этого мама и бабушка переехали в Пермь, куда теперь и привезли меня раненого, полуживого.

Не помню номера госпиталя, но размещался он во второй клинической больнице (на улице Плеханова). И многих врачей даже ни имен, ни фамилий не помню, но вот Б. В. Парин, А. П. Соколов и А. К. Шипов навечно врезались в мою память. Внешне даже суровые, они были душой госпиталя, к ним мы, раненые, и шли со своими бедами, сомнениями.

И еще я помню и буду помнить дежурную медицинскую сестру Анну Самойловну. Худощавая и очень подвижная, она во время своего дежурства, казалось, ни на минуту не присаживалась, все время металась по палатам, не оставляла без внимания ни одной просьбы раненого. А вот как она выполняла их, эти просьбы...

Ночь для раненого — самое неприятное время: и сон бежит от тебя, и раны болят. А если и уснешь, то такие кошмары на тебя навалятся — в холодном поту проснешься. Проснешься среди ночи, глянешь на кого-нибудь из соседей — и того горше станет: горит в палате одна синяя лампочка, и в ее свете все товарищи покойниками кажутся. Ну, моментально и взвинтятся нервишки, а случилось такое — и понесло, и поехало!

Поэтому мы и боялись ночи. Прежде чем уснем, с какими только просьбами не обращались к дежурным сестрам! А у меня от частого употребления снотворного уже обозначилось к нему влечение. Как ночь — подавай его, и все тут! Иначе глаз до утра не сомкну.

И бывало — не спал за ночь ни минуты: ведь сестры понимали что к чему, всячески уклонялись от выполнения моей единственной и неизменной просьбы.

А вот Анна Самойловна никогда не расстраивала меня отказом, она всегда мне отвечала ласково:

— Сейчас, миленький, сейчас.

Ответит так и немедленно исчезнет. А я лежу с открытыми глазами, смотрю в ненавистный потолок палаты и ловлю в коридоре торопливые шаги Анны Самойловны, чтобы, когда она будет пробегать мимо нашей палаты, вновь (который уже раз!) повторить свою просьбу.

Потом, когда я, устав ждать, начинал злиться, Анна Самойловна обязательно приходила с тазиком стиранных бинтов и говорила:

— Понимаешь, совсем запарилась! Чтобы я поскорее принесла тебе порошок, помоги мне, скатай, пожалуйста, парочку бинтов.

Я, предвкушая скорое успокоение всех болей, охотно брал один бинт, расправлял его на своем правом бедре и начинал скатывать.

Скатал. Взял второй бинт, третий... А Анны Самойловны все нет...

Какое-то время все еще жду ее, но уже без психоза, а потом и засыпаю сном праведника.

Дорогая Анна Самойловна! Если бы вы только знали, как я сейчас благодарен вам за вашу маленькую хитрость!

Пошло мое здоровье на поправку — стал включаться в общие разговоры, стал непременно участником всех дискуссий, вспыхивавших у нас в палате почти каждый день. Чаще всего до хрипоты спорили о том, когда же остановим немцев под Москвой: до или после Октябрьского праздника?

Самые разные люди лежали в нашей палате: лейтенанты И. Артюхов, И. Товкачев и П. Минаев, ленинградские ополченцы — пожилой Новожилов и юнец Боря, который в свои семнадцать лет уже успел пролить кровь в боях за Родину, казах Кинах, танкист Юрков и стрелок Егоров. Но ни один из нас и мысли не допускал, что Москва может пасть. Все мы истово верили в нашу окончательную победу над врагом и поражение фашистов под Ельней рассматривали как первую ее весточку.

Мне кажется, что мое здоровье круто пошло на поправку не только благодаря лечению. Родная Пермь и мама, навещавшая меня почти каждый день, уверен, во многом помогли мне.

Мама... Ночью меня привезли в Пермь, а утром в две-

рях палаты я увидел ее, маму. Анатолий Константинович Шипов — ведущий хирург госпиталя — что-то сурово говорил ей. Она, как маленькая девочка, только послушно кивала и смотрела себе под ноги.

Моя койка тогда стояла еще в углу напротив двери, и поэтому я прекрасно видел и маму, и Анатолия Константиновича.

Наконец он показал маме мою койку. И вот мама вошла в палату, стараясь казаться бодрой. Улыбнулась моим товарищам, поздоровалась с ними и засемила к моей койке. Подошла, села на ее краешек и спиной ко мне. Я очень боялся, что она заговорит со мной, боялся, что разревусь, услышав ее голос.

Она не сказала ни слова. Только как-то непостижимо ловко пробежала своими пальцами по моему телу (руки и ноги у сына целы!) и сказала:

— Я сейчас... Я еще приду, — и вышла из палаты.

Не знал я тогда, что в кармане белого халата мама комкала похоронку на меня, которую почтальон вручил ей в тот момент, когда она вышла из дому, чтобы бежать ко мне...

И еще одна большая радость, которая ждала меня здесь, — в нашем госпитале на излечении оказался пулеметчик Федя Новиков, а в соседнем — стоматологическом — и Сережа Орлов. Тот самый, который телом своим прикрыл меня.

Федю Новикова мы считали уже мертвым, так что радость для меня была двойная, когда он вдруг, поддерживаемый медицинской сестрой, приковылял в мою палату и сказал, заикаясь:

— Вот они, подводнички, встретились...

Федю близким разрывом бомбы вышвырнуло из пулеметного гнезда, перевернуло в воздухе и так шмякнуло о землю, что у него кровь из ушей пошла. Когда мы подбежали к нему, он только вздрагивал изредка.

Постояли мы возле него, постояли и решили, что не жилец он больше на белом свете. Но в госпиталь отправили. И вот теперь Федя Новиков — заикающийся, но живой! — сидит рядом, держится за мою руку.

А от Орлова я узнал, что дня через три после того, как ранило меня, в батальоне осталось только четырнадцать человек. Тогда они и получили приказ отойти в наш глубокий тыл; будто бы — подводников возвращали на лодки.

И они ушли из окопов. И присели покурить где-то во втором эшелоне. Сюда и залетела вражеская мина.

Орлову осколок повредил нижнюю челюсть, а остальным досталось и того крепче.

В те дни на имя мамы пришло вот это письмо:

«Добрый день, товарищ Селянкина!

Простите, что мы не знаем вашего имени-отчества: все недосуг и некогда спрашивать было. Пишут вам боевые товарищи вашего сына, а нашего командира, матросы Копысов и Кашин. Вместе с ним мы воевали под Ленинградом, где он был ранен. Мы и сдали его в госпиталь. Ранен он не так чтобы очень, но ничего. Теперь мы не знаем, где он. Ежели вы знаете его адрес, то напишите ему от нас привет, и пусть скорее поправляется...»

Ранен не очень чтобы, но ничего...

Только мои матросы могли написать так «дипломатично»!

Стал я выздоравливать, исчезла угроза смерти — появилось и окрепло одно неодолимое желание: только бы комиссия признала годным к продолжению военной службы, только бы снова попасть на фронт.

Где-то сразу после Октябрьского праздника, когда все мы, затаив дыхание, выслушали обе речи И. В. Сталина, каждому слову которого верили безоговорочно, меня вызвали на комиссию. Волновался, пожалуй, больше, чем перед самым страшным государственным экзаменом. Так боялся, что забракуют, ноги в коленях ходуном ходили. Однако все обошлось — лучше не надо: дали месяц отпуска, после чего обязали явиться в военкомат, чтобы получить проездные документы для следования в Ленинград, к месту службы.

О чем еще можно было мечтать?

И вот я иду по улицам Перми. Чуть больше года минуло с момента моего последнего отпуска, но как многолюдны они стали! А зашел домой к друзьям, никого не застал: один на фронте, другие — днюют и ночуют на заводах.

Лишним я почувствовал себя в городе. Недели две еще пересиливал себя и сидел около мамы, а потом покинул за спину тощий вещевой мешок и зашагал в военкомат. Там нисколько не удивились моему досрочному появлению, и после недолгих споров выписали все проездные документы до Ленинграда, чему я был несказанно рад. Потому рад, что для меня Ленинград был городом, кото-

рый очень многое мне дал; я считал себя просто обязанным участвовать в его обороне.

Помню, каким я был растерянным, когда в августе 1937 года с фанерным чемоданчиком-баулом приехал в Ленинград.

Народищу! Трамваев! Автобусов и автомобилей!..

Только осмелился рискнуть и попытаться пересечь автомобильный поток, чтобы спросить у постового милиционера, как добраться до училища, около меня остановился какой-то мужчина, спросил, кто я и зачем сюда приехал. А еще через несколько минут, придерживая за локоть, он провел меня к трамвайной остановке, втолкнул в нужный трамвай и громко сказал:

— Товарищи, этот молодой человек впервые в нашем городе, он едет в военно-морское училище.

Громко сказал и сразу же исчез. Но моментально кто-то подтолкнул меня к сидению у открытого окна и мягко усадил. А потом через несколько минут, когда трамвай свернул на Невский и мимо меня поплыли дома, величественнее и красивее которых я в жизни еще ничего не видел, опять кто-то незнакомый мне очень тактично и ненавязчиво начал рассказывать и о домах, и о событиях, которые происходили именно здесь.

Вот и получилось, что с первых минут пребывания в Ленинграде я вдруг почувствовал, что жители этого города дороги и близки мне, что и я не безразличен им.

Да и в училище с того момента, как только я лихо нырнул в плохо гнущуюся брезентовую робу, мне сразу стали внушать, что теперь я принадлежу к славному братству военных моряков седой Балтики. Все — и командиры, и политработники, и сверхсрочники, и простые ленинградцы — все они при каждом удобном случае напоминали нам, молодым, об этом, говорили и повторяли бесконечно, что звание балтиец ко многому обязывает, что им нужно дорожить.

И пусть на меня не обижаются моряки других флотов и флотилий (я далек от намерения оскорбить их самые лучшие чувства), но факт остается фактом: меня (как и их) правильно воспитывали в духе безграничной любви именно к своему флоту. И все четыре года учебы я гордился тем, что я — балтиец, что хожу по тем самым коридорам, учусь в тех самых классах, где в свое время маршировали и осваивали морские науки такие прославленные флотоводцы, как Ф. Ф. Ушаков, П. С. Нахимов и дру-

гие адмиралы, имена которых вписаны в историю нашего Военно-Морского Флота.

И еще предметом моей гордости является и то, что уже в ноябре 1937 года я был участником военного парада в Москве и с тех пор по год выпуска неизменно представлял там родной Краснознаменный Балтийский флот.

А командный и преподавательский состав училища? Он был прекрасный — очень знающий, любящий свое дело, культурный и человечный. Кроме того, командование училища использовало малейшую возможность для того, чтобы нас, курсантов, приобщить к настоящей большой культуре: оно непрестанно организовывало лекции, экскурсии по музеям Ленинграда и его историческим местам, встречи с выдающимися актерами, композиторами, писателями и художниками того времени. Так, именно в училище я впервые увидел и услышал живых писателей — Б. Лавренева, В. Вишневского и Л. Соболева. И нам особенно понравилось то, что когда-то и они носили отложные матросские воротники, что их юность начиналась точно так же, как и наша.

Как следствие всей этой огромной воспитательной работы — мы, будущие командиры нашего Военно-Морского Флота, были разносторонне подготовлены. Не потому ли Алексей Лебедев, еще будучи курсантом, стал известным поэтом? Не потому ли среди моих однокашников сегодня есть не только известные адмиралы, но и актеры, композиторы, писатели и художники?

А разве забудешь те уроки человечности, свидетелем которых мне пришлось стать за годы учебы? Хотя бы вот этот.

Помню: сдав вчера последний государственный экзамен, я стал мичманом и сегодня уже отбываю на подводную лодку. Разумеется, явиться туда хотел обязательно после того, как побываю в парикмахерской. Но нашего брата там скопилось столько, что я предпочел пройтись по училищу, как бы проститься с ним.

И вот я в картинной галерее, смотрю на бессмертные творения Айвазовского, который, к слову сказать, в свое время тоже учился в этих самых классах.

И вдруг замечаю, что все курсанты становятся во фронт. Глянул — и обомлел: идет сам начальник училища контр-адмирал Рамишвили и ястребиными глазами «оглаживает» курсантов, замерших по стойке «смирно».

Сразу вспоминаю, что, понадеявшись на парикма-

херскую, не побрился, не причесался должным образом. А это значит...

Любой, кто служил в армии хотя бы немного, прекрасно знает, чем обычно кончались подобные встречи с высоким начальством. А я налетел на самого начальника училища — участника войны в Испании и орденоносца, известного своей строгостью.

Но опыт службы подсказал выход: я встал к стене так, чтобы свет с улицы бил мне в спину; авось, теперь адмирал не заметит ни моей щетины, ни небрежной укладки волос.

Встал и замер, упрасывая судьбу, чтобы она провела адмирала мимо меня. Однако он круто повернулся, остановился рядом со мной и так близко, что почти задевал меня плечом. Остановился лицом к окну. Что оставалось делать мне, бедному мичману? Не мог же я стоять спиной к адмиралу? И я повернулся лицом к свету, теперь окончательно уверовав, что сегодня мой «черный день».

И тут произошел разговор, который я никогда не забуду.

— Что, мичман, сегодня на корабли? Небось радешенек? — громко спросил адмирал, явно рассчитывая на то, чтобы его слышали все, замершие поблизости. И сразу же шепотом, только для меня: — И не стыдно? Мичман, а не побрит, не причесан.

— Так точно, рад! — рывкнул я. И тоже шепотом: — Понадеялся на парикмахерскую, а там народу — из главного калибра не прошибешь.

И опять адмирал говорит сначала для всех, а потом для меня:

— Рад за вас, мичман, искренне рад!.. Что ж, пойдемте в парикмахерскую. Использую свою власть, чтобы устроить вас без очереди.

И мы пошли: впереди — адмирал, перед которым все расступалось и замирало, а я — шага на три сзади. Я уже примирился с тем, что сейчас меня обкарнают как салажонка, меня волновало другое: вдруг в парикмахерской уже нет очереди? Очень не хотелось, чтобы адмирал посчитал меня лгуном.

Но парикмахерская была полна. Все с сочувствием поглядывали на меня. А я старался держаться бодро, независимо. Будто меня нисколечко не волновало то, что должно было сейчас произойти с моими волосами.

Наконец освободилось кресло, и я сел в него.

— Как прикажете стричь? — спросил мастер с легкой иронией.

— Полубокс, и побрить, — ответил я.

— Стрижку прикажете начать со лба?

— Только попробуй!

— А как адмирал на подобное смотрит?

— У него и спроси.

И парикмахер спросил. Адмирал удивленно посмотрел на него, потом, видимо, понял, какие мысли у всех породило его появление вместе со мной, и ответил:

— Спросите у мичмана, а не у меня.

Сказал это и ушел.

Много, очень много подобного я мог бы рассказать, но не об этом речь...

Так мудрено ли, что я рвался в Ленинград, где в кольце блокады сражались мои друзья?

Но одно дело желать, другое — мочь. Поезда-то в Ленинград не ходили! И военный комендант станции Пермь II прямо сказал мне, что отказывается помогать с посадкой на поезд: вот если бы я ехал в Наркомат Военно-Морского Флота, в Ульяновск...

Прислушался я к его совету и вновь сходил в военкомат, переадресовал проездные документы. Но и теперь тот же комендант оказался бессилён помочь мне с посадкой на нормальный пассажирский поезд. Тогда я сел на пригородный и уехал в Кунгур, уехал туда только по одной причине: оторвавшись от дома, наверняка начну энергично пробиваться к месту назначения, а здесь, в Перми, соблазн возвращения домой был слишком велик. Да и комендант уж очень охотно делал отметку на моем предписании, что «за истекшие сутки поездов в указанном направлении не было».

Действительно, приехав в Кунгур и оказавшись на вокзале, забитом людьми до невозможности, я стал действовать решительно, даже нахально, успокаивая себя тем, что если меня и разоблачат, то дальше фронта не пошлют. А мне разве не туда и нужно?

В Кунгуре, обследовав вокзал, я ввалился в кабинет начальника станции, достал из кармана пакет с сургучными печатями (в нем лежали немногие документы), помахал им перед лицом усталого начальника и заявил:

— Еду с пакетом в наркомат, и мне никак нельзя болтаться в толпе. Пока не устроите на поезд — из вашего кабинета не выйду.

Сказал это, уселся на пол в углу и почти сразу же уснул.

Тому, что начальник станции поверил мне, помогла, скорее всего, дедушкина кожаная тужурка, которую я с трудом напялил поверх армейского ватника: не походил я на воина какого-либо определенного рода войск. Но ведь начальник-то станции видел в моей руке пакет с пятаками сургучных печатей и адресом: «г. Ульяновск, Наркомат Военно-Морского Флота»? Вот и принял он меня за представителя какой-то специальной службы, поэтому сразу же и не выгнал из своего кабинета.

Проснулся я от прикосновения чьей-то руки. Открыл глаза. Надо мной стоял стрелок военизированной охраны и предлагал следовать за ним. Разве поспоришь, разве посопровтивляешься? Я послушно поднялся, пошел за стрелком, готовясь отвечать на многие вопросы. Но он увел меня на железнодорожные пути, властно забарабанил в дверь теплушки, прицепленной к паровозу, и, едва дверь приоткрылась, втолкнул меня туда, хотя хозяева теплушки довольно энергично высказали свое недовольство.

В теплушке, в центре которой ярилась раскаленная докрасна печурка, было лишь трое мужчин — небритых, усталых. Как только дверь теплушки была закрыта стрелком, они яростно обрушились на меня с ругательствами. Каких только слов не наговорили, в чем только не обвинили! Самым же обидным было то, что один из них вот так отозвался обо мне:

— Честные люди на фронте воюют или здесь день и ночь работают, а всякая сволочь, используя знакомства, в служебный вагон лезет, едет куда-то, чтобы тещу провести!

У меня хватило ума воздержаться от перебранки, я просто швырнул свой тощий мешок на нары и, так как было невероятно душно, следуя примеру мужчин, тоже разделся по пояс. Минуты две, может, и чуть побольше, поток брани и оскорблений бушевал с прежней силой, а потом внезапно оборвался. И сразу — вопрос голосом спокойным, даже сочувствующим и извиняющимся:

— На фронте побывал, что ли?

Пришлось кратко рассказать о себе. А еще через какое-то время у меня не было людей роднее этой паровозной бригады, которая бессменно вела свою машину от Орла. И уложили-то они меня на лучшее место на нарах,

и даже пайком своим поделились, хотя он был очень скромн. А когда я потянулся за своими сухарями, так на меня окрысились, словно я нанес им личное оскорбление.

Почему я подробно описываю этот вроде бы простой житейский эпизод, хотя о многих боях, в которых участвовал под Ленинградом, упомянул скороговоркой? Дело в том, что в тех боях я был малой величиной. Действительно, что я тогда мог знать об общих задачах не только нашего фронта, но даже и батальона? Ничего не знал. А этот эпизод... Он, если хотите, для меня узловый, он мне убедительнее всех статей в газетах и самых лучших лекций доказал, как труженики тыла относились к нам, фронтовикам.

А в Кузино, где у меня была пересадка, и вовсе повезло: я здесь встретил полковника Лукина, который слышал о нашем батальоне, так как до ранения тоже воевал под Ленинградом. Конечно, обрадовались встрече, и самое неожиданное и приятное для меня — полковник (за немением армейской в госпитале ему выдали фуражку работника НКВД) взял на себя все заботы обо мне. Вплоть до того, что под маркой кого-то из своих сотрудников протащил за собой в купе мягкого вагона.

Как видите, опять встретил душевного человека!

А в Ульяновске почти у самого вокзала я натолкнулся на однокашника — Бориса Елисеева, который и проводил меня до флотского экипажа и даже один из своих кителей отдал, чтобы я «заимел моряцкий вид».

А в экипаже опять встреча, теперь с Борисом Ракиным — механиком с подводной лодки «Малютка» и Степаном Корецким — командиром одного из балтийских тральщиков. Они, как и я, тоже были ранены, тоже только что вырвались из госпиталей, и тем для разговоров нам хватило на несколько дней. От Бориса и Степана я узнал и правду о переходе наших кораблей из Таллина. Суровую правду, полную героизма советских людей. И Ракитин, и Корецкий, как и я, жили только мечтой об отправке на фронт, но счастье первому улыбнулось мне.

В ТЫЛ ВРАГА

Все началось очень обыденно и не предвещало ничего особенного: вызвали в наркомат, где в присутствии какого-то человека в гражданском подробно расспросили о боях, в которых я участвовал под Ленинградом,

о том, как со своими матросами проскальзывал через фронт, что там видел и делал. Порасспросили и отпустили в экипаж, а уже ночью разбудили, обмундировали, выдали новейший белый полушубок и предложили обосноваться в кабине полуторки. Как помнится, ни слова мне не было сказано. Я же ни о чем не спрашивал, так как знал, что мое от меня не уйдет. Лишь дорогой узнал, что моя полуторка и еще четыре других с каким-то грузом идут к Москве. Обрадовался: вот и мне выпала честь защищать столицу!

Страха перед фронтом не было. Только нетерпение — скорей бы! — владело мной. Тогда мне почему-то казалось, будто я настолько ученый, что в третий раз меня не уловят ни пуля, ни вражеский осколок.

Ехали мы какими-то окольными путями, оставляя Москву слева. Куда ехали конкретно и зачем — мне не говорили.

Во время этого рейса я увидел и наши танки, вымазанные белилами и отстаивающиеся на опушках лесов, и многочисленные стволы артиллерии, продвигающейся к фронту, и солдат, идущих походными колоннами. И вовсе обрадовался, когда в одной из деревень замелькали черные матросские шапки, когда облапили меня два моих матроса, служившие со мной еще на подводных лодках, — старшина 2-й статьи Саша Копысов и рядовой Никита Кривохатько.

Не успели и парой слов перекинуться, как им было приказано сесть в кузов одной из машин, и наша маленькая колонна продолжила свой бег.

Когда уже стемнело, нас высадили в деревне, не назвав ее, а для ночлега определили в пустующую хату. В ней было холодно (даже иней серебрился по углам), но мы были довольны, что остались вместе и одни: ведь столько нужно было рассказать друг другу! И, расположившись по-хозяйски, мы проговорили до утра, до тех пор, пока за нами не пришли.

Теперь с нами беседовал какой-то армейский полковник. Он интересовался семейным положением каждого из нас и еще многим другим, что, по нашему мнению, не имело никакого отношения к войне. И вдруг спросил, глядя на меня:

— С парашютом вы когда-нибудь прыгали?

В середине тридцатых годов в Пермском городском саду имени Горького стояла парашютная вышка, с нее я

прыгал один раз. Поэтому, не вдаваясь в подробности, ответил утвердительно.

Полковник, похоже, остался доволен и отпустил нас.

А ночью опять всех троих нас привели в знакомый дом, где уже был тот же полковник. Он и поставил перед нами задачу: проникнуть в квадрат номер такой-то, где в ночь на такое-то декабря взорвать железнодорожный мост, после чего возвратиться, прихватив с собой «языка», желательно — офицера из того же квадрата.

Задание было сформулировано четко, ясно. Лишь одно смущало меня: далековато тот мостик был от линии фронта, да и обстановки на самом фронте я не знал; разве можно в таких условиях переходить фронт?!

Полковник словно угадал мои мысли и сказал, что в нужный район нас доставят самолетом. И тут же спросил:

— Или вы боитесь с парашютом прыгать? Если так, то скажите...

Мне показалось, что в глазах его прятались лукавинки.

В последующие годы не встречал я того полковника, не слышал о нем, так как фамилию свою он произнес неразборчивой скороговоркой. Неизвестно мне и то, был ли он действительно армейским или другому какому ведомству принадлежал. Даже о деревне, в которой мы получили это задание, знаю только одно: она была северовосточнее Яхромы.

Многого я не знал и не знаю о том полковнике, но в одном убежден: он был исключительно тонким психологом, он своим вопросом так умело задел наше самолюбие, что теперь мы были готовы прыгать даже и без парашютов.

Той же ночью мы погрузились в самолет, и он сразу, после короткого разбега, взмыл в воздух. На какой высоте и сколько времени летели — это знал летчик, а мы трое сидели и молчали, терпеливо ждали своего часа.

О чем я думал тогда? Кажется, только об одном: как бы не прозевать сигнал летчика и прыгнуть так, чтобы матросы не заметили страха, овладевшего мной.

От бывалых парашютистов, например, от Аркадия Даниловича Пучнина и других, с кем я позднее познакомился, мне довелось услышать, что ночные прыжки с парашютом требуют особой подготовки, что они сложны. Не могу судить об этом, ибо для меня и моих товарищей все

произошло предельно просто: по сигналу одного из членов экипажа я бросился в распахнутый люк — и все тут. Может быть, и глаза зажмурил, когда прыгал. Но ведь прыгнул!

Подхватил меня парашют — сразу успокоился и в дальнейшем действовал обдуманно, как и наставлял полковник. Даже стропы на себя выбрал, чтобы опуститься поближе к лесу.

Приземлившись, мы закопали парашюты в снег и сразу же пошли в лесную чащу.

Район, где мы оказались, был очень удобен для нас: довольно-таки большой лесной массив, и в нем местами такой густой ельник, что мы еле продирались сквозь него. В таком ельнике днем мы и поспали часа два или три, зарывшись в сугроб. Хотя тогдашнее наше состояние сном, конечно, не назовешь, но этот кратковременный отдых был нужен нам прежде всего для того, чтобы окончательно прийти в себя после перелета и прыжка с парашютом; нам было нужно как можно скорее «почувствовать землю», как говорили десантники старшего лейтенанта Белоцерковского.

После короткого отдыха, уточнив направление по карте и азимуту, двинулись к мосту, который нам предстояло взорвать. Шли бодро, ходко и максимально бесшумно, хотя кругом был только лес, утопающий в снегу.

Получая задание, я предполагал, что взрывать нам придется настоящий мост, а в жизни он оказался однопролетным и даже без арки; таких мосточков на любой железнодорожной магистрали предостаточно. Только одно и тешило самолюбие: этот охранялся часовым, который топтался у восточного конца моста; а сзади него метрах в ста виднелся бункер, где размещался караул. И еще: бункер имел две амбразуры, из которых торчали стволы крупнокалиберных пулеметов.

Четыре с половиной часа мы пролежали в снегу. Наблюдали. Установили, что часовые меняются точно через час, и отползли поглубже в лес, чтобы отогреться, поесть и составить план работы на ночь.

Настолько промерзли за часы наблюдения, что пришлось согреться даже спиртом, хотя первоначально я намеревался сберечь его «на потом».

Посоветовавшись, решили ночью (едва стемнеет) по льду переползти речку, снять часового и лишь после этого заложить взрывчатку под ферму моста; нам с Сашей

предстояло снять часового и взорвать мост, а Никите — следить за бункером и, если оттуда выскочат фашисты — сдерживать их огнем своего автомата до тех пор, пока мы не отзовем его свистком или пока мост не будет взорван.

Конечно, очень заманчиво было Никиту с его медвежьей силой пустить на часового, но тогда уже в ходе операции нам пришлось бы перестраиваться, перегруппировываться; в подрывном деле Никита был значительно хуже подготовлен, чем мы, и ему после снятия часового пришлось бы спешно бежать к бункеру.

Почему мы решили действовать не глубокой ночью, а сразу, едва стемнеет? Рассчитывали на то, что в это время часовой еще не так бдителен.

Отвлекаясь от главного, скажу, что Саша Копысов и Никита Кривохатко — это были два таких моих помощника, что их с радостью взял бы к себе любой командир разведки или диверсионной группы. Оба были дисциплинированы, находчивы в бою и сильны физически. Особенно — Никита. Я сам видел, как однажды он на ладони вытянутой руки держал двухпудовую гирию.

Но лично мне больше всего нравилась их настоящая дружба, проверенная тремя годами совместной службы на подводной лодке.

Самым трудным оказалось переползти речку: лед был торосистый, цеплялся за маскировочные халаты, рвал рукавицы. Да и часовой очень часто выпускал в небо белые ракеты. Ну и приходилось то и дело замирать на льду, иной раз — в самой противоестественной позе.

А вот часового снять оказалось полегче, чем любого из тех, с которыми мы имели дело под Ленинградом: и физически он был послабее, и автомат, согретья руки в рукавах шинели, держал под мышкой. И вообще — не искал врага, а коротал время своего дежурства, мечтая о теплом караульном помещении.

Хотя мосточек был и маловат, мы с Сашей заложили взрывчатку не только на обоих берегах, но и на середине фермы. Свистнули Никите, дескать, отходи, у нас все готово. Потом подожгли бикфордов шнур и метнулись к лыжам, чтобы сразу же после взрыва задать стрекоча.

Мы с Сашей были уже на месте сбора, успели не раз ругнуть Никиту, которого почему-то все еще не было. Невольно подумалось: а не случилось ли с ним чего?

Хотя Никита не такой человек, чтобы его без пальбы взяли...

И лишь когда мостик взлетел на воздух, нам стал понятен замысел нашего товарища: Никита, оказывается, резонно решил, что, услышав взрыв, вражеские солдаты обязательно выскочат из бункера, ну и остался на своей позиции — метрах в пяти и прямо против двери бункера. В эту дверь, как только она распахнулась, он и метнул связку из трех гранат.

Убежали мы от места взрыва на сравнительно безопасное расстояние, как могли замаскировали свои следы — я попытался объявить Никите выговор и не смог: такая обида появилась на его обычно добродушном лице, что у меня язык словно окостенел.

Итак, мост уже взорван, часть задания выполнена. Вроде бы все получилось — лучше не надо, а вот радости особой, полного удовлетворения мы не испытывали. И только потому, что уж очень маленьким оказался мост. Трудно ли вместо него времянку соорудить?

Не знали мы тогда, что в эту ночь несколько подобных мосточков взлетело на воздух, что все эти взрывы были своеобразными первыми аккордами наступления Советской Армии. И еще дней пять мы не знали даже того, что под Москвой уже началось наше наступление, мы просто переживали, волновались, даже злились на себя за то, что болтаемся здесь, во вражеском тылу, когда на востоке ярится артиллерия.

Потом заметили, что по дорогам, которые попадали в поле нашего зрения, движется множество самых различных машин. Заметили и то, что в их движении не было стройности, они будто не шли к намеченной цели, а судорожно дергались. Словно тот, кто командовал ими, сам не знал того, что нужно было делать.

Эта неразбериха на дорогах, эти пробки, то там, то тут возникавшие, подсказали нам разгадку артиллерийской канонады, гремевшей на востоке: наши наступают!

Вот тогда мы и позволили себе единственное отклонение от задания: взорвали немецкий грузовик со снарядами, забуксовавший в сугробе.

На одной из дорог взяли и «языка» — гауптмана: короткой очередью Саша Копысов срезал шофера машины, она, конечно, сразу же сунулась в кювет, а тут мы с Никитой и распахнули ее дверцы.

Гауптман оказался очень сговорчивым: сам руки поднял и даже сказал, что у него в портфеле с бумагами лежит второй пистолет.

Взяли «языка» — осталось только благополучно перейти с ним фронт, а тут счастье отвернулось от нас: фашисты повалили такой массой, что дня два нам пришлось отсиживаться в лесной чащобе.

Холодно и голодно было, нетерпение распирало, но высидели, дождались, когда артиллерия стала звучать только западнее нас.

Но лишь вышли на дорогу (по ней продвигались наши войска), на нас наскочил какой-то солдат и восторженно заорал:

— А ну, стой, гады! Как пальну!

Попробовал объяснить ему, что мы свои, возвращаемся с задания, но он не слушал меня, одно долдонил:

— Как пальну!

А тут налетели на нас и его товарищи — такие же возбужденные наступлением. Налетели — мигом отобрали у нас все оружие вплоть до ножей. Правда, когда я сказал им, куда и кому надо сообщить о нашем появлении, они вроде бы подобрели, но глаз с нас не спускали.

Так, полуарестантами, мы и просидели в солдатской землянке почти сутки, пока не пришел благоприятный для нас ответ. Пришел ответ — вот тут-то мы впервые и познали тяжкое бремя славы! Не меньше полной роты перезнакомилось с нами!

И каждый из наших новых знакомых норовил нам подарить что-то. Вот и оказалось у нас, когда мы сели в полуторку, 24 зажигалки, 17 ножей-самоделок, более 30 наборных мундштуков и даже 12 пакетов горохового концентрата.

Встреча со знакомым полковником то ли нарочно, то ли нечаянно произошла в какой-то деревушке, где мы остановились у колодца, чтобы долить воды в радиатор. Полковник тепло поблагодарил нас и за взрыв моста, и за «языка», сказал, что о нашей добротной работе будет соответствующим образом доложено кому следует, и пожелал нам на дальнейшее ни пуха ни пера.

Послать его к черту, как принято в подобных случаях, я постеснялся.

И вот снова Ульяновск, снова флотский экипаж, который тогда размещался (если память не изменяет) в здании педагогического училища. Снова встретился со Степаном Корецким и Борисом Ракитиным. Те внимательно

осмотрели меня с ног до головы, в глаза заглянули, но ни о чем не спрашивали: знали, если можно, сам расскажу. И я рассказал суть задания, не вдаваясь в подробности.

И опять потянулись бесконечно длинные дни ожидания, опять я вынужден был разгадывать прежнюю загадку: куда и кем пошлют? Эти дни, когда я ждал назначения, для меня были особенно тяжелы, даже мучительны еще и потому, что я уже опять вкусил радость победы над врагом, опять поверил в свои силы, сноровку и удачу. А это, как мне кажется, очень важно для любого воина.

Трудно было ждать, но что оставалось делать нам, лейтенантам, если рядом с нами и более высокие чины скучали? Единственная радость — вечером в свободное от занятий время спуститься на первый этаж, где размещались матросы, найти там Сашу с Никитой и с ними накуриться до одурения; благо солдатской махорки у нас было — завались.

Однако перед самым Новым годом начальство вспомнило обо мне, вручило приказ, которым я назначался в Волжскую военную флотилию. Ознакомившись с этим приказом, я восторга не испытывал: мне, подводнику, и вдруг копытить небо в речной флотилии?!

Но я прекрасно знал, что с начальством нельзя спорить, что оно всегда оказывается правым, и вот мы, четыре лейтенанта — Михаил Докукин, Василий Загинайло, Николай Собанин и я, — получив сухой паек на сутки или около того (в мирное время именно столько нужно было на переезд от Ульяновска до Сталинграда), закинули за спину свои вещевые мешки и бодро зашагали на вокзал. Успешно пробились и в вагон, даже все четверо устроились на верхних полках (здесь, конечно, было душновато, зато никто не пытался наступить тебе на голову). Точно по расписанию поезд отошел от перрона и какое-то время бодро стучал колесами, чтобы на долгие часы застрять у первого же семафора. А мы лежали на своих полках и наивно думали, что он скоро тронется и победит нормально, как и полагается пассажирскому поезду, имеющему свое точное расписание.

В ТЫЛОВОМ СТАЛИНГРАДЕ

Сначала несколько слов о моих товарищах-лейтенантах, с которыми мне и потом не раз довелось встретиться на фронтовых дорогах.

Михаил Докукин в недавнем прошлом был штурманом на одной из подводных лодок, с которой случилась авария. Команду и саму лодку удалось спасти, но Михаила по состоянию здоровья уволили в запас; как память о той аварии, у него появились вставные передние зубы да волосы, основательно подернутые сединой. Спокойный, улыбчивый, он обладал замечательным басом и прекрасным музыкальным слухом, и мы нещадно эксплуатировали его талант. И если бы не его скромность, если бы не врожденная мягкость характера — быть бы ему нашим «флагманом» (ведь он был на десять лет старше даже меня, а я с чистой совестью покрикивал на «мальчишек» — Василия и Николая).

Василий Загинайло и Николай Собанин перед самой войной окончили Высшее военно-морское училище имени ЛКСМ Украины и теперь ехали к первому месту своей командирской службы. Причем, как мы зубоскалили, Николай явно «делал карьеру»: его назначили исполняющим обязанности адъютанта командующего Волжской военной флотилии контр-адмирала Д. Д. Рогачева, и тот сразу настолько «проникся к нему доверием», что поручил ему привезти в Сталинград свою адмиральскую шинель!

Иными словами, настроение у нас было прекрасное, боевое.

И вообще все было бы хорошо, если бы поезд шел как ему полагалось или оказался интендант, выдавший нам паек, не таким формалистом-законником. А теперь через три или четыре дня пути мы с Василием и Николаем дружно рыскали по небогатым станционным базарам, чтобы выменять хотя бы краюху хлеба на что-то из своего обмундирования, которое из-за срока давности стало нашей личной собственностью. Михаила к этим «операциям» не привлекали, так как он оказался исключительно непрактичным в житейских делах: даже самой случайной базарной торговке не способен был доказать, что флотский клеш — пусть и основательно поношенный — стоит гораздо больше, чем буханка самого распрекрасного хлеба, хотя бы уже потому, что носил его бравый морячина.

А когда нам бывало очень голодно, мы сначала как могли костерили интенданта, а потом Николай, забившись на свою полку, страдальчески заводил:

— Живет моя отрада...

И вдруг на подходе к Пензе, где наш состав расформировывался, узнаем, что проводники нашего вагона — коренные сталинградцы и с самого начала войны не были дома. Невольно подумалось, что ведь у каждого из них есть семья. И наши сердца переполнились сочувствием. Но как помочь?

Идею подбросил один из проводников:

— Вот если бы сейчас вагон переадресовали на Сталинград...

Немедленно четыре лейтенанта, у которых энергии было более чем достаточно, провели краткое, но бурное совещание, решившее: выполнение операции «Даешь вагон!» поручить лейтенанту Селянкину, как имеющему соответствующий опыт (намек на Кунгур).

Я был польщен доверием товарищей и начал готовиться: в целях маскировки своего невысокого воинского звания шинель, на рукавах которой об этом кричали полторы золотых нашивки, заменил на черный полушубок. Почему на черный? Во-первых, на нем не было вообще никаких нашивок, никаких знаков различия, во-вторых, его воротник можно было очень эффектно уложить вокруг моей тощей шеи, наконец, в-третьих, черные полушубки с глянцевитым верхом нам ни разу не попадались на глаза на станциях, а это говорило о том, что их имели очень немногие. Почему бы не воспользоваться этим?

Товарищи советовали мне побриться, но я отклонил это предложение: был уверен, что со щетиной на подбородке выгляжу не так молодо.

Наконец все приготовления были закончены и, прихватив с собой проводников вагона, я бодро зашагал к военному коменданту станции.

Как и предполагал, народу у него в кабинете было — ни один таран не пробьет. И все кричали, требовали чего-то. Я уже знал, что, если хочешь в подобной ситуации чего-то добиться, действуй отлично от прочих. Поэтому вежливо, но настойчиво пробившись к столу коменданта, сказал спокойно, как о деле уже решенном, что классный вагон номер такой-то нужно поскорее присоединить к любому поезду, идущему в сторону Сталинграда.

Комендант был страшно измотан, он уже не реагировал на крик и ругань, но мой контрастный тон и внешний вид, похоже, произвели на него должное впечатление, и он, не вникая в сущность вопроса, наложил соответствующую резолюцию и прихлопнул ее печатью.

Из этого вроде бы рядового житейского случая я сделал вывод, что психологический фактор и твоё поведение в тот или иной момент всегда играют огромную роль. Я и сейчас, например, уверен, что стоило мне тогда повысить голос — комендант в лучшем случае оставил бы без внимания мою просьбу, а скорее всего — потребовал бы у меня документы, подтверждающие наши претензии на этот классный вагон.

Мы ехали от Пензы в своём вагоне, но невероятно долго, так как нас, когда хотелось железнодорожному начальству, то прицепляли к товарному поезду, то по той же причине отцепляли на самых неожиданных станциях и даже разъездах. Так долго ехали, что мы уже раз сто покаялись в том, что связались с этим вагоном, но из упрямства сидели в нём. Менять на продукты нам было уже нечего, и Коленька теперь по нескольку раз в день заводил свою песенку про отраду, которая жила в высоком терему. Закроет глаза или мечтательно смотрит на неподвижный телеграфный столб за окном вагона и поет.

Настроение у нас было такое, что немедленно бросили бы вагон и взгромоздились на любую тормозную площадку какого-нибудь товарняка, но одно удерживало: мороз под тридцать, да ещё с ветром, а мы в ботиночках. Не хотелось службу в Волжской военной флотилии начинать с госпиталя.

Очень медленно продвигались мы к цели, но однажды утром все же прибыли в Сталинград. На нашем пути от вокзала до Дворца физкультуры, где тогда размещался полуэкипаж флотилии, город не произвел на меня большого впечатления: одноэтажные домишки за плотными заборами и кое-где большие здания — вот и все, что я увидел тогда. Сразу же оговорюсь: весной, едва Волга очистилась ото льда, мне довелось не раз по ней пройти вдоль всего города, и тогда я проникся к нему огромным уважением не только за его прошлое, но и за настоящее.

Прибыли в Сталинград — Николай Собанин сразу же ушел в штаб флотилии, а мы трое явились в полуэкипаж. Явились — получили назначение. Я, например, — командиром роты; и намек, что ближе к весне обязательно окажусь на катерах, так что моя первейшая обязанность — подготовка специалистов для себя.

К январю 1942 года здесь скопилось уже несколько сот матросов, большинство — призванные из запаса, то есть люди, которых нужно было обучать почти всему, и

бывшие дунайцы, днепровцы и даже балтийцы; эти знали прекрасно не только свое, но и немецкое оружие. Отсюда и сложность организации боевой подготовки: рассказываешь устройство винтовки — большая часть матросов обижается за торопливость твоего объяснения, а другие в это время с немим укором смотрят на тебя: дескать, не разбазаривай, лейтенант, дорогое время на такое старье.

Не приносили мне удовлетворения подобные занятия. Оживал лишь на практике по подрывному делу. Здесь, вырвавшись из полуэкипажа на левый берег Волги, я учил матросов не только закладывать взрывчатку, но и ходить на лыжах, стрелять с ходу, транспортировать раненых и многому другому, что могло пригодиться в бою.

А длинными зимними вечерами сидел в общей спальне за столом и писал подробнейший конспект по минному оружию. Даже чертежи, необходимые для обучения матросов, сам делал — в то время мы не имели ни учебников, ни наглядных пособий. Это занятие мне нравилось, так как позволяло, вернее, заставляло меня самого понастоящему детально изучать минное оружие, что впоследствии мне очень пригодилось.

Примерно через неделю после моего прибытия в Сталинград командующий Волжской военной флотилией контр-адмирал Рогачев вызвал меня для беседы. Командиры и матросы-днепровцы о нем, как о бывшем своем командующем, отзывались тепло, но сетовали: уж очень горяч адмирал, другой раз и штормом разразится, хотя повода для того достаточного нет. Слушал я все это и невольно вспоминал училище, подводные лодки. Там у нас начальство с подчиненными разговаривало всегда спокойно, уважительно. Как-то здесь произойдет моя встреча с командующим?

Однако все мои опасения оказались напрасными: контр-адмирал встретил меня, лейтенанта, приветливо и, что больше всего понравилось, не сюсюкал, не покрикивал, а говорил как с товарищем, вместе с которым ему предстояло воевать против общего врага.

Рогачев расспросил меня о жизни вообще, учебе и службе, а потом кратко ознакомил с задачами, которые были поставлены перед флотилией. Первоочередная из них, помнится, формулировалась примерно так: к началу навигации создать на Волге военную флотилию и в кратчайший срок подготовить ее к боевым действиям в условиях любого речного театра.

Не скрою, задача была сложная, ответственная, но я искренне верил, что она нам посильна. Возможно, даже потому так верил, что годы моей учебы в Высшем военно-морском училище совпали с периодом бурного роста всего нашего Военно-Морского Флота. Так, когда я начинал свою службу, Балтийский флот имел в своем составе только линкоры «Марат» и «Октябрьская Революция», крейсер «Аврора», который уже неизменно стоял на восточном углу Кронштадтского рейда, несколько эсминцев типа «Новик», сторожевики, подводные лодки, тральщики, торпедные катера и другие различные корабли, предназначенные для обеспечения боевых действий и нужд флота. Новым кораблем был лишь крейсер «Киров». Он, поражая нас своей красотой и мощностью, бороздил воды Балтики, и то еще под заводским флагом.

Мы верили в силу и мощь Балтийского флота. Но мы с первых дней своей военно-морской службы имели дело с различными справочниками, которые рассказывали о военных флотах всех держав мира. В них были не только название корабля и его класс, но и его вооружение, водоизмещение и все прочее, что принято именовать тактико-техническими данными. Иными словами, от нас не скрывали правды, и поэтому мы с первых дней своей службы знали, что наш Балтийский флот, которым мы так гордились, в своей мощи должен был добавить еще основательно, чтобы успешно решить главную свою задачу — исключить возможность вторжения в воды седой Балтики военного флота любой, даже самой развитой капиталистической державы.

Однако в то же время нам было сказано, что наш флот будет строиться. И очень быстро. Действительно, мы видели, какими бурными темпами он рос. Настолько бурно рос, что, кажется, к сороковому году некоторые его боевые корабли моей флотской юности были уже переданы в Отряд учебных!

А сколько еще новых боевых кораблей ходило под заводским флагом! А сколько их было еще на стапелях!

Свидетелем всего этого я был. Вот поэтому, может быть, слова контр-адмирала Рогачева о том, что на пустом месте нам надлежит создать военную флотилию, и были восприняты мной как реальный боевой приказ.

Но время шло, а я, лейтенант, возившийся со своей ротой в полуэкипаже, не видел ни буксиров, превращавшихся в канонерские лодки, ни речных трамваев — буду-

щих катеров-тральщиков. Больше того, от нас тщательно скрывали все это. Почему? Видимо, оберегали военную тайну. А если тебе чуть побольше двадцати и сил в тебе полно, то ты невольно рвешься к большому делу, невольно свое сегодняшнее дело начинаешь считать обыденным, а себя — неудачником. И впрямь, на огромном пространстве от Баренцева до Черного моря полыхала война и наши товарищи участвовали в боях, совершая подвиги. Об этом писали в газетах, об этом рассказывали и вновь прибывшие с флотов.

И невольно полезли в голову вопросы. Например, неужели я не способен воевать так же, как мои товарищи, оказавшиеся на флотах или в морской пехоте? Неужели мой удел сидеть в этом тыловом городе, над которым и немецкие-то самолеты-разведчики за зиму всего раза два или три появлялись?

Помню, в военно-морском училище мы очень внимательно следили за дискуссиями, которые периодически вспыхивали как в нашей, так и в зарубежной печати; не только следили за их ходом, но и сами яростно вели их в своем кругу. Одна из них, например, касалась минометов и автоматов, которые в иных зарубежных армиях уже были приняты на вооружение. Так, сторонники минометов и автоматов вздохнули расхваливали их огневую мощь, маневренность и другие качества, которыми они, бесспорно, обладали. Оппоненты же, как мне казалось, напрочь уничтожили все эти качества тем, что цифрами доказали: у пушек и винтовок прицельность лучше, дальность стрельбы больше да и убойная или разрушительная сила — тоже.

Или — кому в будущей войне принадлежит главенствующая роль? Линейным кораблям или эсминцам и «москитному флоту»? Надводным кораблям или подводным лодкам?

Все эти дискуссии, вспыхивавшие тогда, способствовали расширению нашего кругозора, были очень полезны для нас хотя бы даже потому, что рядом всегда был авторитетный человек, к которому мы в критические минуты обращались за разъяснением. А здесь, в Сталинграде, случилось так, что в какой-то момент мы, лейтенанты-волжане, вдруг почувствовали себя кровно обиженными, а потом (и сами не заметили, как такое случилось) полностью оказались во власти доморощенной «теории», согласно которой здесь, в Сталинграде, командование со-

брало матросов и офицеров, не оправдавших на фронте надежд, возлагавшихся на них; согласно этой «теории» среди нас не было ни одного матроса или офицера, способного хотя бы на маленький подвиг.

Работники политотдела, узнав об этой «теории», конечно, делали все, чтобы опровергнуть ее, чего только нам ни говорили, каких только доводов ни приводили, но молодость упряма даже в своих заблуждениях — мы упорно стояли на своем.

В числе тех многих, кто яро поддерживал эту «теорию», был и я. Действительно, разве у меня в роте есть хоть один матрос, способный на подвиг? Дисциплинированных, исполнительных — сколько угодно, а способного на героизм — ни одного!

Даже Сашу Копысова и Никиту Кривохатко тогда я почему-то считал только исполнительными и дисциплинированными!

Самое же обидное — например, Борис Лях (он учился со мной все четыре года) бил врага, а что делал я? Следил за точным выполнением матросами распорядка дня и руководил боевой подготовкой, в которой преобладали набившие оскомину истины!

Правда, мой конспект по минному оружию хвалили и матросы, и офицеры, но разве это боевой подвиг — написать хороший конспект?

Нет, что ни говорите, а сплошные неудачники собраны здесь, в Сталинграде...

И вдруг (в феврале или марте 1942 года) нам в руки попал рассказ Леонида Соболева о моряках-черноморцах, которые добровольно стали авиадесантниками. Прочли мы его с огромным удовольствием и настоящим волнением, искренне восхищались Перепелицей и его товарищами. А потом снова дружно плакались на «серость» нашего личного состава. До тех пор искренне плакались, пока кто-то не спросил у меня:

— Слушай, а твой Перепелица не родственник тому, прославившемуся?

Вопрос застал меня врасплох: единственное, что я знал о моем Перепелице, — он был знающим, дисциплинированным матросом. Не маловато ли я знал?

Чтобы разрешить все сомнения, вызвал Перепелицу и спросил:

— Не родственник тебе тот, о котором здесь написано?

Его ответ прозвучал более неожиданно, чем гром с ясного неба:

— Так это же про меня.

Выходит, и среди нас есть герои! А может, и не один?

И сразу словно в ином свете увидал я Сашу Копысова и Никиту Кривохатько, за какие-то считанные минуты они сказочно выросли в моих глазах.

А главный старшина Даниил Мараговский? Он жил в Киеве, и была у него семья — жена и сынишка, когда немцы вдруг обрушили бомбы на этот город. И надо же было случиться так, чтобы балка перекрытия концом упала точно на спящего мальчонку...

Страшное горе обрушилось на Мараговского. Человек с другим характером, возможно, рвал бы на себе волосы, запил или каким-то другим способом изливал свое горе, а он на рассвете уже явился в приемную командующего Днепровской военной флотилией контр-адмирала Рогачева и потребовал, чтобы его, Мараговского, немедленно вернули на корабли.

Просьбу удовлетворили, он опять стал рулевым на одной из канонерских лодок. И бесстрашно, вернее, невозмутимо стоял у ее штурвала во многих боях. До того последнего боя, в котором вражеские танки все же расстреляли его корабль.

Утонула канонерская лодка — Мараговский вплавь добрался до левого берега Днепра и зашагал к фронту, громыхавшему на востоке.

Однажды по дороге, прорезавшей лесок, он чуть-чуть расслабился и сразу же прозевал момент, необходимый для того, чтобы уклониться от встречи с немцем-мотоциклистом, выскочившим из-за поворота. Тот, не глуша мотор и не слезая с седла, остановился и спросил:

— Юде?

— Нет, еврей, — ответил Мараговский и ударил его ножом.

Мараговский благополучно перешел фронт и тут услышал, что моряков почему-то собирают в Сталинграде. И немедленно повернул сюда.

Когда он пришел, я дежурил по полуэкипажу. Я отлично помню вот этот с ним разговор.

— Как думаете, товарищ лейтенант, для дела или просто так нас здесь гуртуют? — спросил он.

Я тогда был почему-то зол и ответил резко, даже грубо:

— Не будь дураком!

Мараговский не обиделся, он улыбнулся и сказал:

— Против этого трудно возражать.

Таков был Даниил Мараговский, которого еще совсем недавно мы почему-то тоже считали «сереньким».

А капитан-лейтенант С. П. Лысенко? Голубоглазый блондин, он запросто разговаривал с нами, лейтенантами, о самых высоких материях, принимал активное участие в наших редких забавах, словом, был точно такой, как и все мы. А ведь на Днестре он командовал бронекатерами. Даже когда они оказались во вражеском кольце (ниже и выше катеров немцы уже хозяйничали на берегах), Лысенко не взорвал свои катера где-то в глухой заводи, а повел в бой, понимая, что он будет последним для катеров, многих матросов и, возможно, для него самого.

И моряки под его командованием бились до последнего снаряда.

Потом Лысенко вел своих матросов по вражеским тылам, вел и привел их к фронту, благополучно с ними проскользнул через него. И лишь здесь, уже в нашем тылу, матросы узнали, что их командир был ранен еще в самом начале того последнего боя на Днестре. Раненый, он переплыл Днестр, раненый и вел их по вражеским тылам, оберегая от ударов врага. Так держал себя все это время Лысенко, что ни один человек даже не заподозрил о его ранении!

Да разве перечтешь всех героев, которых мы вдруг обнаружили среди нас?

И моментально мыльным пузырем лопнула вся наша глупая «теория». А для себя лично я на всю жизнь сделал вывод: никогда не думай, будто ты полностью познал того или иного человека, если только взглянул на него. Сделал правильный вывод — стал изучать личный состав по-настоящему, скрупулезно, что и позволило мне уже 1 апреля 1942 года, когда меня вдруг вызвали для выполнения специального задания, быстро и без ошибок отобрать двадцать матросов, на которых я мог положиться как на самого себя.

ПЕРВЫЕ МИНЫ НА ВОЛГЕ

Вернулся я в Сталинград в мае, вернулся старшим лейтенантом и минером дивизиона катеров-тральщиков, которым командовал старший лейтенант А. П. Ульянов.

Долго ли я, кажется, и отсутствовал, но к моему возвращению Волжская военная флотилия уже имела три бригады кораблей, которыми командовали:

1-й — контр-адмирал С. М. Воробьев,

2-й — контр-адмирал Т. А. Новиков,

Отдельной бригадой траления (ОБТ) — контр-адмирал Б. В. Хорошкин.

Полностью были укомплектованы и штабы, укомплектованы, как правило, офицерами, имеющими большой опыт организаторской работы; они, офицеры штабов, словно магнит железные опилки, группировали нас, молодых, вокруг себя. И учили, и наставляли, и воспитывали.

Много было в штабах хороших офицеров, но я свои симпатии сразу же отдал капитанам 3-го ранга А. З. Павлову и В. А. Кринову (ныне соответственно — контр-адмиралу и капитану 1-го ранга). Внешне они были совершенно не похожи друг на друга: Павлов — высокий блондин, основательно полысевший со лба, а Кринов — даже чуть ниже среднего роста, по-мальчишески стройный, юркий и неутомимый. Оба они импонировали мне и своей рассудительной смелостью, и умением запросто, не теряя своего и не унижая чужого достоинства, разговаривать как с адмиралами, так и с подчиненными.

Забегая вперед, скажу, что мое мнение о них с годами нисколько не изменилось, и я горжусь, что с Всеволодом Александровичем Криновым меня донныне связывает самая настоящая дружба, а с Акимом Захаровичем Павловым — регулярная переписка.

Вполне понятно, когда видишь рядом культурных и знающих начальников, невольно и сам стараешься стать завтра лучше, чем ты есть сегодня. И я, оказавшись дивизионным минером на катерах-тральщиках, не стал плакаться, дескать, меня используют не по назначению, не по специальности, а засел за изучение техники, начальником которой теперь оказался. Причем изучал не принцип ее действия (это я усвоил еще в училище), а само устройство — до винтика, до последней шайбочки. И не стеснялся за консультациями обращаться даже к матросам.

Это не нанесло урона моему авторитету, даже больше того: в последующем любое мое приказание выполнялось немедленно и точно. Может быть, потому, что я знал свое дело, зря не дергал людей?

Флотилия активно готовилась к боям «в условиях любого речного театра», но все равно война на Волге нача-

лась для нас неожиданно: если память не изменяет, в конце июня на вражеских минах в районах Луговой Пролейки и Светлого Яра (у входа в Саралевскую воложку) подорвались два парохода. Короче говоря, даже этими своими первыми минными постановками фашисты, «взяли Сталинград в клещи», как бы обозначили этим свои дальнейшие планы.

По силе этих двух прогремевших над Волгой взрывов мы сразу определили, что гитлеровцы поставили здесь морские неконтактные мины, то есть мины, взрывающиеся не от соприкосновения с кораблем, а под воздействием его магнитного поля или шума винтов, боя колес.

Итак, на Волге началась минная война, враг нанес первый, довольно чувствительный удар.

К сожалению, мы не могли достойно парировать его: да, Волжская военная флотилия имела даже Отдельную бригаду траления (ОБТ), но та была вооружена лишь катерными и облегченными Шульца тралами, предназначенными для борьбы не с донными, а с якорными минами; бессильны оказались наши катера-тральщики против тех мин, которые враг начал ставить на Волге.

Казалось, было отчего растеряться, однако командование флотилии в этот критический момент приняло ряд мер, в целесообразности которых мы скоро убедились. Прежде всего — завершило передачу всех катеров-тральщиков в ОБТ и одновременно по берегам Волги раскинуло цепочки постов Службы наблюдения и связи (СНИС), снабженных телефонами и даже радиостанциями. Если к этому добавить, что для наблюдения за поведением немецких самолетов над Волгой были привлечены еще и бакенщики, рыбаки, команды барж, пароходов и кораблей флотилии, которых ночь заставляла на плесе, то станет и вовсе ясно, что теперь многие минные постановки врага стали своевременно обнаруживаться нами, а замеченная минная постановка — уже почти наша победа.

В это же время мы изучали и тактику фашистских летчиков, производивших постановку мин. И оказалось, что она очень однообразна, чтобы не сказать — шаблонна. Так, с наступлением сумерек обязательно появлялся самолет-разведчик, проходил над Волгой и засекал караваны, находящиеся в пути.

Уходил этот самолет — через какое-то время прилетало несколько групп бомбардировщиков, которые и шли туда, где были замечены караваны. А самолеты-минонос-

цы, хотя зачастую и появлялись одновременно с бомбардировщиками, немедленно устремлялись туда, где не было караванов. Пройдет такой самолет над рекой так низко, что даже ночью его силуэт видишь. Иногда обстреляет из пулеметов один или оба берега и вроде бы исчезнет. Но буквально через несколько минут он появится вновь, появится уже на большой высоте и, не сделав ни одного выстрела, уйдет в ночь. Будто бы к себе возвращается, равнодушный и к Волге, и к тому, что есть на ней. Однако именно во время этого — вроде бы пассивного — полета он и бросил одну или две мины, которые на парашютах почти бесшумно опустились в реку; только легкий шлепок о воду да бульканье воздуха, выходящего из-под парашюта, чаще всего и мог засечь наблюдатель, притаившийся на берегу. Вот поэтому, чтобы прогнать наблюдателей с берега, самолеты и строчили из пулеметов, иногда даже сбрасывали малые бомбы.

Правда, были у гитлеровцев и беспарашютные мины, постройка которых легко маскировалась под обыкновенную бомбежку, но почему-то враг применял их значительно реже, чем парашютные.

Чтобы вы, читатели, яснее представили себе, насколько сложна была эта минная война, каких усилий, знаний и напряжения всех сил требовала она от нас, коротко расскажу о принципе действия тех немецких неконтактных мин, с которыми нам пришлось столкнуться на Волге.

Все мины, которые враг бросал в Волгу, по способу поправки, как я уже упомянул, делились на парашютные и беспарашютные.

Итак, допустим, что мина уже на дне реки. Но в этот момент она была опасна не больше, чем обыкновенный камень. Ей требовалось еще какое-то время, чтобы «прийти в опасное положение». Как продолжительно было это время? Это полностью зависело от человека, который устанавливал его на ПРИБОРЕ СРОЧНОСТИ (мне попадались приборы с диапазоном от 30 минут до 6 суток).

Кроме того, немецкие неконтактные мины имели еще и так называемый ПРИБОР КРАТНОСТИ, позволяющий им взрываться не под первым кораблем, оказавшим на них воздействие своим магнитным или акустическим полем, а, допустим, под четвертым, десятым или одиннадцатым (мне довелось видеть такие приборы с установкой до 16 импульсов).

Под каким точно кораблем взорвется мина? Это опять

же зависело от установщика, вернее, от приказа, который он получил.

И еще: эти мины имели несколько самых различных устройств, предназначенных для того, чтобы взорвать мину и человека, который попытается обезвредить ее.

И лежала такая мина на дне Волги, иногда ее полностью заносило песком, засасывало илом, но она оставалась опасной; большой заряд взрывчатки и сравнительно малые глубины реки делали ее взрыв особо ощутимым для любого парохода. Например, когда на mine подорвался катер-тральщик, которым командовал старшина 1-й статьи Яриков, мы только и нашли обломок стенки рубки, к которому были прикреплены корабельные часы.

Да, мы имели дело с минами, обладавшими большим зарядом, не требующими для взрыва соприкосновения с кораблем и до определенного мгновения ничем не выдающими своего присутствия на том или ином участке реки.

А теперь допустим, что наблюдатель видел, как ЧТО-ТО на парашюте опустилось в реку у яра правого берега, и немедленно вызвал катера-тральщики, которые сразу же приступили к работе. И вот они ходят час, другой, ходят сутки, вторые, а взрыва мины все нет. Почему? Причин могло быть четыре:

еще не сработал ПРИБОР СРОЧНОСТИ, и, следовательно, мина не воспринимает импульсов, посылаемых тралом;

на ПРИБОРЕ КРАТНОСТИ установлено большее число, чем катер-тральщик сделал галсов;

мина почему-то оказалась неисправной и лежит на дне реки безопасной для пароходов болванкой;

гитлеровцы нарочно сбросили на парашютах не мины, а, допустим, мешки с песком или камнями (случалось и такое).

А ведь экипаж катера-тральщика, производящего работы, ничего не знал о mine, над которой ходил; он просто ходил по минному полю, и его экипаж отлично понимал, что в любую минуту может прогрехотать взрыв под самым катером-тральщиком, и тогда...

Представляете, какое это непрерывное и страшное напряжение физических и нервных сил человека?

Почему же взрыв мины мог произойти и под катером-тральщиком? Неужели нельзя было его исключить?

Катер-тральщик, как и любой другой корабль, обязательно имеет свое собственное магнитное поле, движители

катера-тральщика — винты или колеса — обязательно производят характерный шум, от которого невозможно избавиться. Однако магнитное поле катера-тральщика «убиралось» перед выходом на траление, вернее, уменьшалось до минимально возможных размеров; катеру-тральщику даже выдавался специальный документ, в котором говорилось, что его ГАРАНТИЙНАЯ (безопасная) ГЛУБИНА ТРАЛЕНИЯ равна...

Беда в том, что нам частенько приходилось тралить на глубинах меньших, чем та, гарантийная: река — не море.

Кроме того, катер-тральщик, подвергавшийся размагничиванию, должен был соблюдать ряд правил, оберегающих его ГАРАНТИЙНУЮ ГЛУБИНУ ТРАЛЕНИЯ. Например, избегать ударов, толчков, не швартоваться к неразмагниченным судам и так далее. А как избежать ударов, если враг бомбит и бомбы рвутся рядом с тобой? Как не пришвартуешься к барже-нефтянке, когда течение несет ее в огонь?

Если же одно из таких правил нарушено, катер-тральщик согласно инструкции должен немедленно прекратить траление и снова бежать размагничиваться.

Но разве можно было это позволить себе, если еще не расчищен проход через минное поле и с каждым часом именно здесь все больше и больше скапливается караванов с самыми различными и крайне нужными грузами?

А вообще-то... Если бы после каждого соприкосновения с кем-то или встряхивания, допустим, от близкого разрыва бомбы катера-тральщики уходили на размагничивание, то и работать было бы некому.

Таковы (очень кратко и общо) основные принципы минной войны на любом театре. На Волге они усугублялись еще и тем, что судовой ход здесь был сравнительно узок, и если мина оказывалась поставленной на нем, мы вынуждены были прекращать судоходство на данном участке, то есть сами, словно нарочно, начинали задерживать караваны, чтобы облегчить немецким летчикам поиск целей и их бомбежку.

В сложившейся обстановке от катеров-тральщиков требовалась очень четкая, даже самоотверженная работа, но, к несчастью, к началу минной войны на Волге мы здесь не имели ни одного трала, пригодного для борьбы с неконтактными минами.

Казалось бы, безвыходное положение. Но в первый

же день миной войны на Волге контр-адмирал Хорошкин делом доказал мне, что из любого положения выход всегда можно найти, было бы желание.

Встретились мы с Хорошкиным около каравана, прижавшегося к яру левого берега в районе Луговой Пролейки. Я пришел с двумя катерами-тральщиками без тралов, а контр-адмирал — на бронекатере.

Если верить капитану буксира, то вокруг каравана, приткнувшегося к берегу, фашисты за одну минувшую ночь с одного самолета поставили двенадцать мин, да так плотно одна к другой, что не выскользнуть из минного мешка даже лодке, не то что пароходу.

Мин было явно многовато, сам собой напрашивался вывод, что капитан буксира обыкновенные бомбы считал минами, но невольно думалось: а вдруг хоть одна да лежит затаившись? А у парохода на буксире три баржи-нефтянки...

Контр-адмирал долго и терпеливо убеждал капитана в том, что нужно продолжать рейс, говорил и о невозможности постановки такого количества мин с одного самолета и что здесь караван ночью обязательно разбомбят. Капитан упрямо твердил свое:

— Я за пароход и груз отвечаю. Пока не уберете мины — с места не тронусь.

— Да тебя за это упрямство расстрелять мало! — сунулся в разговор и я, потеряв терпение.

И вот тут капитан расправил плечи, этак пренебрежительно глянул на меня и сказал:

— Хоть что делайте, а от правды не отступлюсь.

Я понял, что он в своем упрямстве стоит за большую правду, ради которой готов и смерть принять.

Казалось, мирные переговоры зашли в тупик, и я растерялся, не знал, что делать дальше. И тут Хорошкин как-то с грустью посмотрел на капитана, на команду парохода, толпившуюся тут же, и сказал предельно спокойно, даже вроде бы равнодушно:

— Стоять вам здесь — равносильно самоубийству: обязательно разбомбят. Единственное спасение — немедленно двигаться дальше. Но, говорите, кругом мины? Так вот, фашисты ставят магнитные мины, которые взрываются от присутствия железа. Видите бронекатер? Он сплошь железный. И на нем я сейчас пойду через ваше минное поле. А вы — следом. И держитесь точно за мной. Если мы проскочим, значит, мин здесь нет. Ес-

ли взорвемся — и вовсе смело идите вперед: там мины уже не будет. — И, повернувшись ко мне: — Со мной пойдешь или на одном из своих тральщиков?

Я пошел с адмиралом.

Не буду утверждать, будто на душе у меня было сплошное ликование, но хорошее волнение преобладало — это факт: на глазах стольких свидетелей на подвиг согласился; это вам не одно и то же, что взрываться во время обыкновенного траления.

Но и мы, и караван прошли благополучно.

— Понял, как сейчас действовать надо? — спросил Хорошкин, когда мы вывели караван на судовой ход.

Позднее (дня через три или четыре) адмирал преподал мне еще один урок, тоже врезавшийся в память на всю жизнь.

Тогда Хорошкин вызвал меня в Горный Балыклей, где, по словам местных жителей, две мины упали на берег и ушли в землю, но не взорвались, а третья — в реку точно по приверху острова и метрах в ста — ста пятидесяти от него. На Горный Балыклей базировался дивизион катеров-тральщиков капитан-лейтенанта А. Аржавкина. У него был свой дивизионный минер, однако адмирал вызвал меня — пришлось прибыть.

Разговор с адмиралом был более чем краток:

— Посмотри, что за штуки там упали и уничтожь их. Вот и все, что он сказал мне при встрече.

Действительно, на берегу зияли две дыры с такими ровными стенками, словно здесь кто-то специально занимался бурением. У некоторых немецких неконтактных мин на тот случай, если они упадут на берег или палубу корабля, были установлены специальные взрыватели, уничтожавшие мину в момент соприкосновения с землей или палубой корабля. Здесь взрыва не было. Может быть, взрыватель почему-то отказал? Нет, маловероятно, что немецкие летчики так здорово промазали: ведь почти в километре от реки эти дыры!

Да и корпус у мины не такой прочный, чтобы уцелеть после удара о землю, так что скорее всего это авиационные бомбы.

Так решил я сразу после внешнего осмотра отверстий, а когда, расширив одно из них и втиснувшись в него почти по пояс, нащупал обломившийся стабилизатор, и вовсе убедился в правильности своей догадки. А дальше все было просто: выставили оцепление, на

жердях опустили в отверстия заряды и взрывом их вызвали детонацию бомб.

— А с той штукой, что в реку упала, справиться не попробуешь? — спросил адмирал.

Я взял на полуглиссер четыре малых глубинных бомбы и показал мотористу, каким курсом ему следует вести наш катер.

И на этот раз счастье было на моей стороне: от взрыва одной из малых глубинных бомб сдетонировала авиационная бомба (или все же мина?) килограммов на пятьсот. Так что к дебаркадеру мы возвращались победителями. Но — странное дело! — адмирал теперь будто не замечал меня, даже слова похвалы не обронил. Я, конечно, обиделся.

С наступлением темноты над нами загнусавили немецкие самолеты. Нет, они еще не бомбили, не обстреливали нас, они еще только высматривали жертву, однако настроение у нас сразу упало, так как в то время мы еще не имели ни зенитных пулеметов, ни автоматических пушек. Например, на катере-тральщике Марагосского, где я теперь размещался, был установлен на треногу только один немецкий станковый пулемет образца 1914 года, обладавший способностью даже при малейшем угле возвышения бить лишь одиночными выстрелами и сразу же давать перекос; а на некоторых катерах-тральщиках было лишь по одному ручному пулемету. Много ли с таким оружием навоюешь против «юнкеров» и «мессершмиттов»?

И мы притихли, в душе тая надежду, что сегодня авось бомбежка и обстрел минуют нас.

Вдруг Хорошкин, стоя около полуглиссера, кричит мне:

— Может быть, прогуляемся, старший лейтенант?

И вот мы вдвоем на полуглиссере выходим на середину реки, где адмирал приказывает мне сбросить скорость и начинает из винтовки, которую он прихватил с собой, стрелять по теням проносящихся над нами самолетов.

Он стрелял, а меня все это время мучили вопросы: «Неужели он надеется сбить вражеский самолет? Или бахвалится своей храбростью?»

Хотя, «бахвалиться» ему никакой необходимости не было: на его груди сверкало несколько орденов, что было красноречивее всяких слов.

Расстреляв обоймы две или три, Хорошкин приказал подойти к островку. Там, когда я заглушил мотор, он и спросил:

— Обиделся, что днем не поздравил с успехом?

— Было дело, — ответил я.

— А ведь и ты не поздравил, не поблагодарил своих товарищей, которые помогали тебе взрывать бомбы на берегу. Понял теперь, каково у них на душе после твоей невнимательности? Человек любит, когда его успехи своевременно отмечаются. — И сразу же — без какого-либо перехода: — Почему, думаешь, я вышел с тобой на этой скорлупе? Сбить вражеский самолет захотелось?

— Не думаю...

— И правильно делаешь, — будто обрадовался адмирал. — А выйти нам нужно было обязательно: уверен, сейчас все матросы с карабинами и винтовками сидят. Воевать, а не умирать изготавились!

Урок был предметный, глубокий, и впредь самолеты врага мы встречали из всех видов оружия, вплоть до ракетниц: ведь немецкий-то летчик не знал, что мы от бессилия стреляем ракетами, он-то, возможно, думал, что мы кому-то показываем на него, и спешил ретироваться.

Только однажды мы изменили этому правилу. Тогда (после сравнительно близкого взрыва мины) у нас отказал мотор, и мы для ремонта приткнулись к берегу, где нас и нашел самолет врага. Он появился необычно рано — небо еще только начало темнеть — и прошел над нами так низко, что, казалось, вот-вот сойдет нашу мачту. А у нас случилось так, что команды на верхней палубе — кот заплакал: минеров Мараговский послал в деревню взорвать обнаруженные там бомбы, мотористы возились в машинном отделении, а все прочие (кроме вахтенного) заготавливали чурку для газогенераторного катера-тральщика, работавшего с нами в паре.

Короче говоря, у нас было самое дурацкое положение: катер лишен хода, значит, не может и маневром уклониться от атаки самолета, а какую огневую мощь могли создать мы трое, если у нас были только карабины?

Самое разумное, казалось бы, — покинуть катер, ибо до гибели его оставались считанные минуты. Но поступить так, оставить на растерзание врагу катер — это было выше наших с Мараговским сил.

Не помню, кому из нас пришла в голову эта мысль, но мы все трое просто уселись на палубе вокруг бухты пенькового троса. Сидели, делали вид, будто нет здесь никакого вражеского самолета, а сами краешком глаза внимательно следили за ним. Вот он пикирует на катер, еще немного — и затарахтят его пулеметы или раздастся вой бомб...

Но что это? Самолет почему-то резко отвалил в сторону! Кого он испугался?

Круга два или три сделал вражеский бомбардировщик над нами, но атаковать так и не осмелился. Почему? Мое мнение — летчика насторожило, что мы просто так сидим вокруг бухты троса, он видел в этом какой-то подвох. И, оберегая себя, отказался от вернейшей атаки.

За годы войны я был участником или свидетелем нескольких подобных курьезов. Так, в октябре 1942 года, когда мне пришлось работать на сталинградских переправах, однажды я нарушил все инструкции и наставления, в военном отношении действовал абсолютно безграмотно, но не получил в борта катеров даже шального осколка.

Тогда вражеские артиллеристы и минометчики встретили мои катера залпами, которые легли точно по нашему курсу. Согласно военной науке я был обязан немедленно начать маневрирование скоростью и курсом, чтобы сбить вражескую пристрелку. А я — молчу, не подаю ни одной команды. Стою в рубке головного катера и наблюдаю, как разрывы вражеских снарядов прыгают по реке, пытаюсь предугадать мой маневр, которого я так и не сделал.

В том, что все случилось так, а не иначе, как мне кажется, большую роль сыграло не только везение, но и то, что мы действовали неожиданно для врага.

Конечно, этот случай стал предметом обсуждения на командирской учебе. Кое-кто из моих товарищей довольно-таки яростно нападал на меня за пренебрежение к азбучным истинам военной науки. Конец дискуссии положил Кринов, который только и сказал:

— Бой — не игра, где надо действовать по правилам. Кроме того, как известно, победителей не судят.

Да, для меня контр-адмирал Хорошкин являлся образцом командира, у которого нужно было многому

поучиться, которому во многом должно было подражать. Лишь одного я не понимал и не одобрял: его частых попыток на какое-то время из командира бригады превращаться в командира катера или даже в рулевого, минера, пулеметчика. Например, он еще не раз на бронекатере проносился по минным полям, доказывая речникам, что фарватер свободен от мин. Во время одного такого отчаянного рейса в Черговском яру он и погиб вместе с бронекатером.

Трагическая и преждевременная гибель контр-адмирала Б. В. Хорошкина глубоко потрясла нас всех, кто знал и любил его. И позднее с огромным удовлетворением мы восприняли известие, что впредь один из боевых кораблей Советского Военно-Морского Флота будет называться «Контр-адмирал Хорошкин».

Итак, в первые дни минной войны на Волге задачами катеров-тральщиков являлись обнаружение минных полей врага и уничтожение мин, отыскание обходных фарватеров, проводка по ним караванов и охрана их от нападения с воздуха. И, разумеется, изучение тактики врага.

Изучили тактику врага — это дало нам возможность провести ряд мероприятий, которые значительно снизили эффективность бомбовых и минных ударов врага. Например:

фашисты ставили мины ночью, ориентируясь по огням, обозначающим судовой ход, и мы погасили все бакены, створы и перевальные знаки. Теперь врагу пришлось швырять свои мины куда придется. А Волга (особенно — в период половодья) очень широка, и многие мины попадали в несудоходные воложки и даже на заливные луга, где потом и обсохли;

фашисты бомбили караваны с наступлением темноты, и мы к ночи все суда притыкали к берегу и тщательно маскировали. Вот и ходили теперь фашисты часто над будто бы чистой рекой, вот и швыряли бомбы просто так, «на авось».

Однако фронт минной войны рос, ширился изо дня в день и скоро захватил всю Волгу уже от Никольского (значительно ниже Сталинграда) до Золотого (района Саратова).

Задачи перед нами стояли серьезные, объемные, и скоро мы забыли, что недавно жили по распорядку дня, что еще недавно, у нас были даже подъем и отбой.

Вот как, помнится, прошли для нас только одни сутки в тот период минной войны.

Рассвет застал нас — два катера-тральщика и два бронекатера — в конвое буксирного парохода «Крестьянин», который вел за собой три нефтеналивные баржи. И весь долгий летний день мы были рядом с этим караваном, готовые в любую минуту открыть огонь по вражескому самолету, если он появится и осмелится атаковать. И двух отогнали.

А с наступлением ночи приткнули караван под яр левого берега в излучине ниже Быковых хуторов, тщательно замаскировали и продолжали нести вахту около него. Вечер был тих, ночь — звездная. Благодать, а не погода: и не холодно, и жара изнуряющая спала.

Едва стемнело, появились вражеские самолеты. Они, получив сведения от своих разведчиков, настойчиво искали наш караван, но пока безрезультатно. Мы даже начали подумывать, что сегодняшняя ночь окажется хотя и бессонной, но спокойной — без бомбежки и пулеметных очередей.

А выше и ниже нас по течению кого-то уже бомбили, и черное небо прошивали строчки трассирующих пуль, рвали багровые вспышки бомб, упавших на землю.

И вдруг с правого берега одна за другой взвились две белые ракеты и погасли, не дотянувшись до каравана. Стало ясно, что это ракетчик, которого мы не смогли своевременно обнаружить.

Самолеты, разумеется, заметили эти ракеты и вернулись в наш район. Тогда и взвилась еще одна ракета. Немедленно, придерживаясь направления ее следа, лег на боевой курс один из самолетов, вслепую сбросил бомбу, которая взорвалась на берегу, метрах в десяти от каравана.

Из опыта минувших подобных боев я уже знал, что теперь летчики, веря своему ракетчику, методично перепашут бомбами всю кромку нашего берега и обязательно нащупают караван. Чтобы попытаться спасти его, оставалось одно — принять бомбовый удар на себя, и мы, два бронекатера и два катера-тральщика, выскочили на середину реки и открыли огонь по тому месту, откуда недавно взвилась ракета, и по самолетам, вернее, по черному небу, в котором они кружили; мы всячески старались доказать летчикам, что мы и есть та самая цель, на которую им указывалось.

Летчики, похоже, поверили в это, и рядом с катерами упали первые бомбы.

В незавидном положении мы оказались: враг нас прекрасно видел, бомбил прицельно, а мы стреляли наугад; чтобы услышать моторы самолетов, нам приходилось выключать свои, то есть на какое-то время лишаться хода и маневренности, что было чрезвычайно опасно.

Мы маневрировали и стреляли наугад, постоянно помня, что должны эти самолеты увести за собой как можно дальше от каравана, доверенного нам.

Наши катера почти справились с этой задачей, и вдруг от Быковых хуторов прямо на наш караван течение вынесло пылающий пассажирский пароход. Караван в опасности! Надо немедленно увести от него горящий пароход! И, отбросив в сторону все хитрости, мы бросились к нему. Шли полным ходом, какой только и могли выжать из своих моторов, но уже на половине пути поняли, что опаздываем: горящий пароход поднесло к каравану так близко, что летчикам стали видны и «Крестьянин», и его баржи.

Команда «Крестьянина» оказалась мужественной: не обращая внимания на падающие бомбы, она начала выводить караван на стрежень, чтобы иметь хоть какую-то возможность маневра и уйти подальше от опасного соседа — пылающего парохода.

И надо же было случиться так, что одна из бомб попала в среднюю баржу! Та, конечно, вспыхнула, и горящая нефть огненной лентой вплелась в волны Волги.

Теперь перед нами встала задача изъять горящую баржу из каравана, дать «Крестьянину» возможность уйти с головной баржей из освещенного пожаром пространства, а самим попытаться туда же отбуксировать и концевую баржу. Чтобы расчлнить караван, мы высадили на баржи четырех матросов-добровольцев — Михаила Вегонцева, Василия Иванова, Михаила Карпова и Александра Курочкина.

С этого момента мне приходилось одновременно следить за самолетами врага, продолжавшими атаки, за «Крестьянином», который пока успешно уходил с одной баржей, за горящим пароходом (течение наконец-то прибило его к отмели!) и за четырьмя смельчаками, работавшими уже на горячей барже; временами они совершенно скрывались за клубами густого черного дыма и космами огня.

Сейчас я не могу объяснить, как мне удавалось тогда одновременно следить за всем этим, но ведь следил!

Сосредоточив весь огонь на том секторе неба, откуда наиболее вероятно была атака самолетов, мы не позволили им поразить больше ни одной цели.

Невероятно длинными мне показались те минуты, пока четверо смельчаков расчаливали караван. Но вот они просигналили, что концевая баржа освобождена от пут. Я немедленно приказал Мараговскому снять их с баржи, и он моментально рванулся выполнять приказ. Но на палубу катера-тральщика прыгнули только трое: Михаил Карпов чуть замешкался, рассматривая что-то, и в это время палуба баржи под его ногами вздулась и лопнула, как камера, лишенная крышки, выбросив в небо столб огня и дыма.

Горящая нефть попала и на катер Мараговского, он загорелся сразу в нескольких метрах, но огонь удалось быстро сбить.

Наконец настал такой момент, когда «Крестьянин» и две его баржи из трех оказались на безопасном расстоянии от горящих пассажирского парохода и баржи. Какое-то время, носясь по реке, мы еще постреливали по самолетам. и вдруг заметили, что они ушли. Даже не верилось в такое счастье: матросы по-прежнему сжимали в руках оружие и слушали, слушали небо.

В это время из воды, буквально рядом с катером, и прозвучало:

— Братцы... Помогите...

В горячке недавнего боя, где мы невольно уподобились человеку, находящемуся в освещенной комнате и подвергнувшемуся нападению с темной улицы, никто из нас почему-то не подумал, что на пассажирском пароходе могли быть люди...

Четырнадцать человек мы тогда подняли на свой борт, примерно столько же спасли и остальные катера. Кто-то и сам выплыл на берег. А сколько их погибло, не получив своевременной помощи или при нашем бешеном маневрировании?

От спасенных мы и узнали, что сгоревший пассажирский пароход — «Александр Невский».

Наконец поднялось солнце, и мы отчетливо увидели и остов сгоревшего парохода, и полузатонувшую баржу, и вдоль левого берега — черную ленту недавнего пожара.

А еще немного погодя нагрянуло начальство, и пришлось отвечать на его бесчисленные «как» и «почему». К счастью, ошибок в наших действиях не было обнаружено, и начальство отбыло восвояси, дав мне новый приказ: следовать к Дубовке и там взять под свою охрану новый караван...

Ну, о каком распорядке дня могла идти речь, если так было изо дня в день?

А в Сталинграде в это время срочно готовились тралы, пригодные для борьбы с магнитными неконтактными минами, — хвостовые. Они представляли из себя трос, к которому на среднюю его часть подвешивались специально намагниченные обрубки жесткого троса — «хвосты». По замыслу создателей этого трала — под воздействием магнитного поля «хвостов» и должны были взрываться мины; буксировался такой трал одновременно двумя катерами-тральщиками, идущими параллельными курсами.

Одно не было учтено: наши катера-тральщики были самыми обыкновенными катерами с металлическим корпусом, ранее работавшие на сплавных рейдах, или вчерашними речными трамвайчиками, у которых сразу же за рубкой были удалены все надстройки.

А если к этому добавить, что речники иногда отдавали нам не лучшие свои катера, то и вовсе станет ясно, какой мощностью они обладали. Так что, не шли, а почти стояли они с такими тралами.

Таковы были первые катера-тральщики, служа на которых, мы вступили в борьбу с немецкими неконтактными минами. А в будущем году (весной 1943), когда вместо Отдельной бригады траления было создано две, к нам в качестве тральщиков поступили и маленькие буксиры-угольщики, и такие маломощные катеришки, что мы, комдивы, хотя они у нас и числились боевыми единицами, использовали их только для решения вспомогательных задач. А качество отдельных из них...

Я был уже командиром дивизиона катеров-тральщиков (лето 1943 года), и в составе комиссии мне довелось от Наркомата речного флота принимать несколько таких катеров. Двойственное у меня было отношение к этому пополнению. С одной стороны, и по внешнему виду, и по выучке личного состава (вчерашним — самым обыкновенным речникам) далеко им было до ветеранов Волги, а с другой стороны... Как ни критикуй, но все равно пополнение!

Так вот, лазал я по этим катерам, лазал, заглядывал во все трюмы и под слани — вроде бы все было в порядке. И вдруг глаза мои прилипли к свежей краске на водонепроницаемой переборке. Почему только она, эта переборка, недавно покрашена?

И я молотком стукнул по ней. А он возьми и пробей ее насквозь!

Конечно, после этого все переборки мы простучали молоточками, и многие из них не выдержали даже удара средней силы. А ведь они предназначались для того, чтобы, когда катер получит пробоину, сдерживать забортное давление воды...

СТАЛИНГРАД СРАЖАЕТСЯ

23 августа по приказу комдива я со своими двумя катерами-тральщиками прибыл в Сталинград, явился в штаб флотилии и спросил:

— Зачем вызывали?

Ответили:

— Чтоб вы отдохнули.

Отдохнуть было бы полезно, но... К тому времени мы уже по сотням примет научились безошибочно определять обстановку на своем участке фронта. Да и приказ № 227 народного комиссара обороны СССР от 28 июля 1942 года требовал от нас вовсе не отдыха. Он с суровой правдивостью открыл нам глаза на сегодняшнюю действительность, он требовал от нас, фронтовиков, прежде всего упорства в бою. В этом приказе говорилось:

«Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает местное население.

Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге, у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами.

Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа... После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас ста-

ло меньше территории, стало быть, меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 млн. населения, более 80 млн. пудов хлеба в год и более 10 млн. тонн металла в год.

У нас уже нет теперь преобладания ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину...

...Можем ли мы выдержать удар, а затем отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно, наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов...

...Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование — ни шагу назад без приказа высшего командования...»

Огромное впечатление на всех нас произвел этот приказ. И прежде всего своей правдивостью, прямоотой. Он свидетельствовал о том, что ЦК нашей партии безгранично верил советскому народу, заботился прежде всего о его благе.

Ознакомились с этим приказом — невольно вспомнились случаи, когда мы сами или наши соседи вдруг отходили, боясь окружения или мощного танкового удара. Отходили потому, что искренне считали: необъятны просторы нашей Родины, найдем для обороны рубеж лучше этого — и вот уж там-то встанем насмерть по-настоящему.

И теперь мы поняли, что нет у нас больше ни одной запасной позиции, что нужно насмерть стоять здесь, на рубеже Волги.

В том, что этот приказ наркома обороны СССР (да и многие другие столь же важные документы) запомнился на всю жизнь, огромная заслуга политработников всех рангов. Так, дивизионный комиссар (позднее контр-адмирал) П. Т. Бондаренко, хотя он в то время и являлся членом Военного совета флотилии, был у нас на катерах не только желанным гостем, но и своеобразным членом экипажа, так как всегда появлялся в самый нужный момент, и как-то запросто завязывались беседы, которые надолго запоминались нам, случалось, заставляли совершенно иначе смотреть на то или иное жизненное явление.

Помню, в августе 1942 года, буквально за несколько дней до первой массовой бомбежки Сталинграда, Бон-

даренко появился на моих катерах как раз в тот момент, когда мы уже снимались со швартовых. Я, разумеется, немедленно доложил ему, что, мол, так и так, выхожу на конвой каравана. Дивизионный комиссар терпеливо выслушал меня и ответил предельно кратко и ясно:

— Не бойся, мешать не буду.

И он, отослав свой полуглиссер до завтра, пошел на катер вместе со мной. Рядом был и тогда, когда мы отражали яростные атаки вражеских бомбардировщиков.

Нет, он не становился к пулемету, не пытался подменить, допустим, рулевого. Он просто с невероятно невозмутимым видом стоял рядом с рубкой, стоял в тот момент, когда, раздирая воздух воем моторов, на нас пикировал вражеский стервятник.

Его спокойствие, конечно же, передавалось и всем нам.

Одно это уже очень много значило, но, пожалуй, не менее важно и то, что я не помню ни одного такого случая, когда он, используя свое служебное положение, попытался бы командовать. Дивизионный комиссар, насколько мне известно, лишь изредка позволял себе давать советы. Вдруг возьмет и скажет командиру отряда или катера:

— А не подойти ли нам ближе к яру? Там тень гуще.

И все, больше — ни слова. Он прекрасно понимал, что нельзя снимать с командира ответственности за принятое решение, что нет ничего хуже, если на корабле не один, а несколько человек командует.

Со своего начальника брали пример и остальные политработники. Причем, проводя беседы, готовя матросов и офицеров к вступлению в партию, помогая выпускать «боевые листки» или организуя материал для флотильской газеты, они не спешили покинуть катера, если те готовились к выполнению боевого задания, они, как правило, шли вместе с нами.

Однажды, помнится, младший политрук П. Тимохин даже заменил убитого пулеметчика. Заметил одним из первых, что очередь фашистского самолета сразила его, ну и встал к пулемету. И весь бой был на этом боевом посту, встречал меткими очередями каждый пикировщик. Был ранен в руку, но повязку наложить на рану позволил лишь тогда, когда ушел за горизонт последний фашистский самолет.

Не только приказ наркома обороны СССР, но и свод-

ки Совинформбюро за последние дни призывали не к отдыху, а к еще большей боевой готовности; чувствовалось, сводки чего-то недоговаривали, так что мы не очень поверили в обещанный отдых.

Поставив катер около нашего дебаркадера (чуть выше Дворца физкультуры), я пошел в штаб флотилии, который размещался во Дворце пионеров (заметьте, какие у нас были координаты!).

В штабе флотилии шла размеренная жизнь, не чувствовалось ничего тревожного, и я, завершив многие свои дела, со спокойной совестью пошел ужинать на дебаркадер базы. Еще только подходил к кают-компани, когда случайно глянул на небо над заволжской степью. Глянул и даже остановился от неожиданности: оно было все в искрящихся на солнце точках — так много шло самолетов.

Прежде всего подумалось, что они наши и идут громить гитлеровские колонны, наступающие где-то в районе Дона. Однако не слишком ли много самолетов? Я за месяцы войны ни разу не видел столько сразу.

Я еще гадал, чьи это самолеты, а в городе уже завывали сирены и объявили воздушную тревогу.

Мои катера-тральщики, наученные войной, сразу же устремились к середине Волги, чтобы во время бомбежки быть на ходу.

А что оставалось делать мне? Ужинать сразу расхотелось. Бежать в город, искать какое-нибудь бомбоубежище или щель? А найду ли до бомбежки? Да еще и какое?

Я остался стоять на дебаркадере, стоять на том его борту, который был обращен к Волге, а следовательно, и к самолетам. Позднее, когда бомбежка окончилась, кое-кто из товарищей стал упрекать меня за излишнюю и никому не нужную браваду, дескать, мы и так знаем, что ты не трус, так зачем же напрасно рисковать?

И мои товарищи очень удивились, когда я им доказал, что остался стоять тут исключительно из осторожности. Побегу я на берег, там меня могло ранить не только осколком бомбы, но и просто камнем, вывороченным взрывом бомбы, наконец, — похоронить под развалинами дома, в подвале которого я укроюсь. Может быть, мне следовало перейти на борт дебаркадера, обращенный к городу? Тоже нет: там я опять же должен был опасаться

и осколков бомб, и камней, если бомба рванет на берегу в непосредственной близости от дебаркадера. Теперь же, случись такое, надстройки дебаркадера приняли бы на себя и осколки, и камни.

Кроме того, бомба, взорвавшаяся в воде, там и оставляла большую часть своих осколков.

Так где же было безопаснее? На берегу или на дебаркадере? На каком его борту?

А что стоял, не лег... От прямого попадания меня ничего не спасало.

И лучшей наградой для меня прозвучали слова капитана 3-го ранга Кринова, присутствовавшего при этом нашем разговоре:

— А ты, оказывается, начал в войне разбираться.

Сказано это было весело, вроде бы даже с легкой насмешкой. Но я прекрасно знал манеру Всеволода Александровича: как можно меньше напряженности в разговоре, если для этого есть хоть малейшая возможность.

Я не считал, сколько самолетов врага в тот вечер обрушило бомбы на Сталинград, но в архиве Академии наук СССР есть данные, что принадлежали те самолеты 4-му воздушному флоту, что было их несколько сот и произвели они свыше двух тысяч самолето-атак.

Когда ушел на запад последний вражеский самолет, в городе горели многие дома, а на реке — дебаркадеры и даже пароходы, застигнутые бомбежкой у причалов; и еще: бомбами были порваны баки нефтехранилища, и горящая нефть бурным потоком, пожирая все на своем пути, устремилась вдоль правого берега, около которого и располагались все причалы и пристани.

Но паники среди жителей я не заметил: они деловито тушили пожары, расчищали улицы от развалин домов. Словом, вели себя так, будто подобные адские бомбежки давно стали для них привычным делом.

Сразу после бомбежки я побежал в штаб флотилии, где и узнал, что сегодня вечером войска ударной группировки 6-й немецкой армии в районе поселков Латышанка и Акатовка вышли к Волге, что в одном километре от тракторного завода появились десятки фашистских танков, которые уже начали обстрел города.

И срочно из моряков, находившихся в полуэкипаже, был сформирован сводный батальон, который вместе с другими частями и направили к тракторному заводу. Как утверждает Н. Г. Кузнецов в своей книге «На флотах

боевая тревога», тот батальон насчитывал всего 260 бойцов, которые были вооружены 100 винтовками, 12 ручными пулеметами и 14 автоматами; командовал этим батальоном капитан 3-го ранга П. М. Телевной.

Слабо был вооружен этот батальон, но с утра 24 по вечер 26 августа, пока оборону этого района не взяла на себя 124-я стрелковая бригада полковника С. Ф. Горохова, он стоял насмерть. Больше того, совместно с 282-м полком НКВД и с танками 99-й бригады батальон выбил противника из Латышанки.

Почти весь личный состав этого сводного морского батальона пал смертью храбрых в тех многих неравных боях.

Утром 24 августа, едва я успел задремать после эвакуации на левый берег Волги штаба флотилии, как опять появились фашистские самолеты, и началось такое, что не берусь точно передать это словами. Мне казалось, что теперь горел и рушился весь город. Солнце исчезло в плотной туче дыма, день почти в ночь превратился, а фашистские самолеты все ходили над самыми крышами домов и бомбили, стреляли из пушек и пулеметов.

В Сталинграде, кроме местных жителей, было много раненых, находившихся на излечении, и еще вчера началась их эвакуация. На подводах, на носилках и редко — на машинах доставляли раненых на берег, чтобы эвакуировать из горящего и рушащегося города. Но фашистские летчики с непонятной нам яростью бомбили именно переправы мирного населения и места, где накапливались раненые, то есть береговую черту; а там к шести часам утра 24 августа горело все, что могло гореть. И многие раненые погибли в этом огне, погибли от бомб и пулеметных очередей фашистских самолетов. Так, в партийном архиве Волгоградского обкома КПСС засвидетельствовано, что на базе имени Шверника находилось примерно 500 или 600 раненых, когда враг с воздуха атаковал ее. В результате атак около 100 из них погибло, а еще значительно больше — получили вторичные ранения и ожоги.

Да и многие баркасы и даже пароходы, загрузившись ранеными и благополучно отвалив от берега, на Волге подвергались атакам с воздуха и гибли вместе с людьми. Такая судьба постигла и санитарный пароход «Бородино», на борту которого было 700 раненых: прямой навод-

кой он был расстрелян в районе села Рынок и затонул. С него спаслось лишь около 300 человек. А с парохода «Иосиф Сталин», который шел с эвакуированным населением, спаслось всего лишь 100 из 1200 человек.

В эвакуации раненых и гражданского населения Сталинграда активное участие принимали и катера нашей флотилии. Они работали как обыкновенные паромы, а матросы из пулеметов и винтовок стреляли по самолетам врага, которые, подавив зенитную артиллерию города, опускались так низко, что мы видели лица летчиков.

Запас прочности, запас плавучести, грузоподъемность — все эти и другие понятия, имеющие солидную научную обоснованность, оказались ниспровергнутыми в эти дни: мы брали на борт столько людей, что катера почти по иллюминаторы погружались в воду; идя к левому берегу Волги, мы избегали резкой перекладки руля, боялись близкого взрыва бомбы, боялись и волны, поднятой проносящимися мимо бронекатерами, — были так перегружены, что запросто могли перевернуться и затонуть. Но взять на борт меньше людей оказывалось свыше наших сил: они с такой надеждой смотрели на нас, когда мы подходили под погрузку...

Четыре рейса мы завершили благополучно, а во время пятого, когда я из рубки зачем-то ушел на нос катера, вражеская бомба рванула под кормой и, конечно, разворотила ее. Взрывом меня швырнуло в реку, а когда я вынырнул, катер-тральщик уже затонул. Только восемь человек барахтались среди обломков, пытаюсь найти хоть что-то, за что можно было бы подержаться.

Подплыл я к ним, разделся в воде, спрятал под фуражку комсомольский билет и удостоверение личности, и мы, помогая друг другу, поплыли к левому берегу, до которого оставалось метров четыреста. На наше счастье, нас летчики не стали добивать пулеметными очередями, что в те дни было обычным явлением, и мы благополучно добрались до берега.

В другой обстановке, при других условиях мы, разумеется, получили бы какое-то время на то, чтобы прийти в себя, но сейчас каждый человек был дорог и, наспех обмундировавшись, я прыгнул на полуглиссер и остаток дня носился на нем, выполняя самые различные поручения. Лишь глубокой ночью взял курс на свою базу (затон Тумак). Шел мимо горящего Сталинграда и вовсе не намеревался соваться под бомбы, которые с прежней

яростью рушились на пылающие кварталы. И тут около правого берега, вдоль которого опять текла огненная река, увидел бревно и прижавшегося к нему человека. Течением бревно с человеком несло в огонь. Тогда у нас со старшиной полуглиссера и состоялся примерно такой разговор, который начал я:

— Видишь? Похоже, там человек?

— Идем на последних капельках бензина.

— Так ведь человек же там!

— К тому говорю, чтобы не винили, если мотор заглохнет.

Так ответил мне старшина 2-й статьи П. Бира, поворачивая полуглиссер к огненной реке.

Все случилось точно так, как он и предсказывал: только вытащили мы раненого из воды, перехватив его у самой кромки огня, как мотор нашего катерка чихнул несколько раз и заглох.

Огонь уже лизал наши борта, мы уже устали бороться с ним, когда из ночи вынырнул какой-то полуглиссер, бросил нам буксирный конец и вытащил нас на чистую воду. Он же и дал нам немного бензина, чтобы мы смогли подрулить к базе.

Я нарочно так подробно остановился на этом маленьком эпизоде, который вроде бы никак не мог повлиять на ход всей Сталинградской битвы. Он, этот эпизод, как мне кажется, хорошо характеризует наше настроение в то тяжелейшее для нас время.

С 24 по 28 августа проработал я на сталинградских переправах. Это и очень мало (всего четверо суток!), и невероятно много, если учесть, в каких условиях приходилось работать. Десятилетия минули с той поры, но я и сегодня восхищаюсь спокойствием и организованностью сталинградцев, оказавшихся перед лицом таких суровых испытаний. В том, что сталинградцы именно так встретили этот вражеский удар, огромную роль, бесспорно, сыграла вся работа партийных органов Сталинграда. В том числе и вот это обращение Городского комитета обороны, адресованное жителям города:

«Дорогие товарищи!

Родные сталинградцы!

Остервенелые банды врага подкрались к стенам нашего родного города.

Снова, как и 24 года назад, наш город переживает тяжелые дни.

Кровавые гитлеровцы рвутся в солнечный Сталинград, к великой русской реке — Волге.

Воины Красной Армии самоотверженно защищают Сталинград. Все подступы к городу усеяны трупами немецко-фашистских захватчиков.

Обер-бандит Гитлер бросает в бой все новые и новые банды своих головорезов, стремясь любой ценой захватить Сталинград.

Товарищи сталинградцы!

Не отдадим родного города, родного дома, родной семьи. Покроем все улицы города непроходимыми баррикадами. Сделаем каждый дом, каждый квартал, каждую улицу неприступной крепостью.

Выходите все на строительство баррикад. Организуйте бригады. Баррикадируйте каждую улицу. Для строительства баррикад используйте все, что имеется под руками: — камни, бревна, железо, вагоны трамвая и т. д.

Построим баррикады быстро и так, чтобы боец — защитник Сталинграда беспощадно громил врага с баррикад, построенных нами.

Бойцы Красной Армии! Защитники Сталинграда!

Мы сделаем для вас все, чтобы отстоять город. Ни шагу назад. Бейте беспощадно врага. Отомстите немцам за все учиненные ими зверства, за разрушенные очаги, за пролитые слезы и кровь наших детей, матерей и жен.

Защитники Сталинграда! В грозный 1918 год наши отцы отстояли красный Царицын от банд немецких наемников. Отстоим и мы в 1942 году краснознаменный Сталинград. Отстоим, чтобы отбросить, а затем разгромить кровавую банду немецких захватчиков.

Все на строительство баррикад!

Все, кто способен носить оружие, на баррикады, на защиту родного города, родного дома!»

Я видел, как сталинградцы возводили баррикады, как люди самых мирных профессий становились бойцами народного ополчения, как они шли в бой на отремонтированных ими танках.

А 28 августа утром меня вызвали в штаб флотилии к флагманскому минеру — капитану 3-го ранга А. Г. Хохлову. Был он знающим специалистом и хорошим организатором, за что мы, подчиненные, и уважали его. Но с недавних пор (после большой неприятности) появилась в его характере черточка, которая частенько доводила меня до белого каления. Например, родилась в моей го-

лове самая примитивная идея: обучать минеров подрывному делу не только теоретически, но и практически. Докладываю Андрею Григорьевичу, как своему начальнику по специальности. Он полностью одобряет ее и велит мне все это изложить на бумаге, что я и делаю. Он внимательно изучает мой рапорт, устно одобряет еще раз и сразу же тащит меня с рапортом к командующему флотилией, докладывает ему, дескать, так и так, хорошее дело предлагает минер такой-то, надо бы поддержать начинание. Контр-адмирал Рогачев берет ручку, чтобы наложить соответствующую резолюцию, и вдруг спрашивает:

— А где же ваше мнение как специалиста?

— Его я высказал, а распишусь после вас, товарищ командующий.

Остерегался Андрей Григорьевич лезть с резолюцией вперед начальства, остерегался свое мнение раньше решения командования фиксировать на бумаге. Вот и теперь, вызвав меня к себе в самое горячее время, он начал издали:

— Как самочувствие? Не устал? Не жалуешься?

Я, зная особенности его характера, отвистил уклончиво. А ему будто только это и нужно было услышать, он млеет в радостной улыбке:

— Значит, не жалуешься? А как ты взглянешь, если мы поручим тебе работу с плавающими фугасами?

Плавающие фугасы — малые глубинные бомбы, взятые в деревянный каркас с таким расчетом, чтобы они плыли, чуть выставив из воды рейки-рычаги, которые, коснувшись препятствия, немедленно воздействуют на взрывающее устройство. Готовить их к пуску было просто, но где с ними на Волге работать? Ведь здесь нет ни одного вражеского корабля, ни одного вражеского моста, ни одной вражеской переправы?

Все это промелькнуло у меня в голове, и я спросил:

— А что конкретно вы хотите мне предложить?

— Начальство не предлагает, а приказывает! — отшутился Андрей Григорьевич. И сразу же серьезно: — Значит, согласен?

Терпеть не могу, когда начальство у подчиненного спрашивает согласие! Все облачается вроде бы в форму добровольности, но попробуй откажись!

Кроме того, я еще с училища знал, что командование, естественно, далеко не всегда считается с желанием

своего подчиненного. Так, у нас в училище перед выпуском обязательно спрашивали у каждого, где, на каком флоте он желает служить. И в большинстве случаев получалось так, что лейтенанта, желавшего служить на Черном море, обязательно направляли за Полярный круг. Случайность? Может быть. Но я считал и считаю иначе.

Вот поэтому на вопрос Андрея Григорьевича я только неопределенно повел плечами.

— Значит, договорились! — Он и вовсе расплылся в улыбке. — Ты поболтайся тут, в штабе, я тебя еще вызову.

Около часа я «болтался», потом ко мне подвели какого-то майора (судя по петлицам — инженерных войск) и сказали, что с этого момента мне надлежит следовать за ним.

Майор поздоровался со мной: так буркнул свою фамилию, что я ничего не понял, и мы оба зашагали к Волге, где нас уже ждал катерок. А там, на правом берегу, меня армейские командиры передавали друг другу до тех пор, пока я не оказался в штольне, вход в которую был со стороны речки Царицы.

Здесь, в штабе фронта, я и получил задание, которое можно сформулировать так: с отрядом матросов проникнуть во вражеский тыл на реку Дон, где всеми имеющимися в моем распоряжении силами и средствами уничтожать мосты и переправы, топить паромы и все прочее, на чем немцы могут переправлять через Дон свои резервы; срок выхода на задание — по готовности, но не позже 6.00 завтра.

Скрывать не буду: очень почетно было получить задание от командования фронтом, и я с радостью и гордостью согласился принять под свою руку отряд минеров-подрывников (так официально именовалась наша группа). Однако меня очень интересовало и волновало, кого назначат комиссаром нашего отряда?

Дело в том, что, как я уже убедился на личном опыте, комиссар играл огромную роль хотя бы уже и потому, что я, как командир, был обязан согласовывать с ним все свои решения. А это порой бывало трудно. Особенно, если у тебя каждая секунда на строгом учете, если каждая из них может стать роковой. Ведь иной раз то или другое решение (да еще во вражеском тылу) приходит к тебе, казалось бы, без всякой подготовки, ты его ин-

стинктивно находишь, что ли. А если так, то как я объясню, допустим, комиссару, почему приказываю немедленно поступить так, а не иначе?

Возможно, в этом моем высказывании кто-то увидит мистику или какую-нибудь другую чертовщину. Даю слово, что не верю ни в рай, ни в ад. Но за годы войны лично у меня неоднократно случалось так, что словно какая-то сила вдруг заставляла меня при минометном обстреле падать не в канаву или старую воронку, а на открытое место; и мины в этом случае почему-то рвались в канаве или в старой воронке, где прятались другие, точно следовавшие науке и логике. Даже утром 24 августа, когда бомбежка застала нас в штабе флотилии, мои товарищи бросились в щель, что была открыта около павильона, а я уселся на скамеечку около памятника Хальзунову. В результате — меня не зацепил ни один осколок, а в щель упала бомба.

Генерал-лейтенант, беседовавший со мной, похоже, уловил мое некоторое смятение, так как вдруг спросил:

— Вас что-то волнует?

— А кто пойдет со мной комиссаром? — немедленно выпалил я.

Генерал-лейтенант какое-то время помолчал, потом ответил спокойно, словно речь шла о самом обыденном:

— Вы будете единоначальником, с вас за все спросим.

НА ДОНУ

«Их было двадцать три. В черных бушлатах и кителях, в бескозырках и мичманках, вместо галифе — широкий клеш, на ногах — ботинки. И еще восемь в красноармейской форме», — так начинается корреспонденция «Минеры на Дону», опубликованная в газете «Правда» от 3 октября 1942 года.

Действительно, нас было тридцать — в матросском и солдатском обмундировании. Я — тридцать первый. Это даже не взвод, но какие это были люди! Я и сейчас о каждом из них вспоминаю как о самом близком, самом родном человеке: так каждый был надежен в бою, покладист в жизни и любил товарищей.

Времени для формирования отряда у меня было крайне мало, но все обошлось удачно. И случилось это пото-

му, что, во-первых, я после зимней истории, когда так оскандалился с Перепелицей, старался познать души людей, а не их внешний вид; во-вторых, командиры частей и подразделений, к которым я обращался, узнав в общих чертах, для какой цели они должны выделить людей в мое распоряжение, не «втирали очки», а давали по-настоящему лучших.

Я глубоко убежден, что просто обязан поименно назвать всех бойцов отряда, но списка его мне иметь не полагалось, и, кроме того, после возвращения с Дона со многими из них мои дороги больше ни разу не перекрещивались, так что память, к сожалению, не сохранила многих имен и фамилий.

Получив задание о походе на Дон, я задумался над тем, кого — по воинским специальностям — мне нужно обязательно иметь в отряде. Прежде всего минеров, которые смогли бы быстро освоиться с плавающими фугасами и хорошо знали бы подрывное дело. Поэтому первыми в отряд, как минеры, были зачислены А. Копысов, И. Печалин и П. Целищев.

О Саше я уже рассказывал, потому кратко охарактеризую лишь двух других моих ближайших помощников.

Печалин и Целищев — оба черноморцы, оба — старшины 2-й статьи. Причем Целищев служил на флоте уже седьмой год. А что звание у него было столь скромное — всему виной характер: вспыльчивый, я бы сказал, даже дерзкий. Правда, он проявлялся только во взаимоотношениях с начальством, а с товарищами Целищев всегда был неизменно ровен, внимателен. Иными словами, если кому и грозили неприятности из-за его характера, то только мне: ведь я был командиром, то есть принадлежал к числу тех людей, которым он «резал в глаза правду-матку», чьи приказания, случалось, осмеливался критиковать.

Почему же я взял его в отряд, если у него был такой характер?

Дело в том, что мы с ним «цапались» раза три и все — вскоре после того, как я прибыл в Сталинград и возглавил боевую подготовку минеров. В те разы Целищеву казалось, что я что-то путаю, излагаю материал не вполне точно, ну он и высказался со свойственной ему прямоотой, даже резкостью.

На его беду, именно тот материал я знал прекрасно.

Поэтому его замечание не обидело, а даже развеселило меня, и я спокойно вступил с ним в дискуссию, из которой без особого труда вышел победителем.

Повторяю, примерно три подобных стычки было у нас с ним, все я выиграл и стал для него авторитетом. Правда, в том, что он стал верить мне, кажется, известную роль сыграло и то, что однажды, оговорившись и услышав его замечание, я немедленно извинился за оговорку.

Иными словами, с начала минной войны на Волге у меня не было более верного помощника, чем великий спорщик Петр Целищев.

А Печалин... За всю свою немалую жизнь я, пожалуй, не встречал более спокойного и исполнительного человека. Не обладая большой физической силой, он, однако, был способен бодрствовать несколько суток, питаться чем придется и при этом смотреть на тебя по-прежнему спокойно ясными сероватыми глазами; казалось, не было на свете ничего, способного нарушить его душевное равновесие, заставить его проявить хоть какие-то признаки волнения.

У этой троицы минеров в подчинении были «вторые скрипки», столь же самобытные.

Итак, минерами я обзавелся. Но ведь кто-то должен был и подготовить для них место работы? Снимать вражеских часовых, нести службу разведки, боевого охранения?

Для этих целей, разумеется, годились те же Саша Копысов и Никита Кривохатько, но я из батальона морской пехоты взял еще и двух балтийцев — Михаила Копылова и Николая Клековкина. Атлетически сложенные, смелые до отчаянности, да к тому же послужившие в разведке под Ленинградом, прошедшие там хорошую фронттовую школу, они были бы драгоценной находкой для командира любой армейской части.

И еще, когда получал боевое задание, мне подумалось: а как мы будем подкрадываться к объектам взрыва, если на Дону (на том его участке, где нам предстояло работать) нет лесов, которые мы смогли бы использовать для скрытного подхода к объекту взрыва?

Эти свои сомнения я и высказал генерал-лейтенанту, дававшему мне задание. Тот, похоже, одобрил мою творческую инициативу, так как посмотрел на меня с интересом и спросил:

— Что предлагаете конкретно?

— Мне бы в отряд несколько легких водолазов. При флотилии они есть.

— Что ж, запросите. Думаю, адмирал Рогачев не откажет.

Так появились в отряде легкие водолазы — главный старшина С. И. Бабкин, старшина 2-й статьи В. П. Крамарев и другие. Этим мне еще предстояло узнать. Но что понравилось сразу — прибыв к месту сбора отряда, они немедленно и без моего приказа стали грузить плавающие фугасы на полуторки, которые нам выделило армейское командование.

Наконец уложены последние килограммы взрывчатки, уселся в машину последний матрос. Я осмотрел поляну — не забыли ли чего? — и сел в кабину головной машины. С этой минуты уже только я отвечал и за точность выполнения задания, и за действия каждого из бойцов моего отряда. И еще — в кармане у меня лежал пакет, адресованный командиру одной из гвардейских дивизий, в полосе которой нам предстояло переходить фронт.

Сначала мы ехали по левому берегу Волги, ехали до Камышина, где должны были на пароме переправиться на правый берег и уже отсюда устремиться к Дону, в то самое место, откуда начинался вражеский клин, нацеленный на Сталинград.

С тяжелым чувством мы начали свой рейд: во-первых, немцы по-прежнему бомбили город, который стал нам по-настоящему дорог, во-вторых...

Когда мы работали на сталинградских переправах, для нас самым главным было — доставить раненых или жителей города на левый берег. Доставили — на этом свою задачу считали выполненной. И начинали думать о новом очередном рейсе в Сталинград, где смерть подстерегала тебя на каждом метре. Теперь же, проезжая по левому берегу, мы видели и раненых, которые многие часы ждали здесь своей отправки в госпитали, и женщин и детей, уже сомлевших от ожидания. С какой мольбой все эти люди смотрели на нас!

А мы никого к себе в машины взять не могли, мы сурово проезжали и мимо раненого с окровавленной повязкой, и мимо матери, протягивающей к нам своего ребенка. И не только потому, что машины были чрезмерно перегружены и мы ни на минуту не забывали, что на

любом из многих ухабов запросто может хрупнуть одна из рессор. Главное, что заставляло нас проезжать мимо, — на взрывчатке сидели бойцы отряда. Все, без исключения. А фашистские самолеты свирепствовали и над этой дорогой, над одной из немногих, по которым к городу шло пополнение. Вот и приходилось нам все время помнить, что, окажись хоть один из фашистских летчиков поудачливее, ничего не останется от наших машин.

Даже бойцы, дежурившие на КПП и привыкшие, казалось бы, ко всему, проверив наши документы и ознакомившись с грузом, торопливо сигналили: «Полный вперед!»

Было невероятно жарко и пыльно, но мы до самого Камышина не сделали ни одного привала: спешили поскорее проскочить наиболее опасную зону.

В Камышине, накупавшись и долив воды в радиаторы машин, получили продовольствие и немедленно двинулись дальше.

До этого я только читал о степи, о ее бескрайности. И вот она стелется под колеса машин — ровная, бесконечная и безжалостно выжженная солнцем. Простор для маневрирования — больше некуда! И ни одного, укромного уголочка, где мы смогли бы отсидеться, если появятся фашистские самолеты.

Но самолеты нас ни разу не потревожили. Видимо, им и под Сталинградом хватало работы.

В штабе дивизии нас встретили приветливо и сразу же направили на участок, где стоял батальон авианесантников старшего лейтенанта Белоцерковского.

От Белоцерковского и узнали, что еще недавно здесь были гитлеровцы, но наши гвардейцы отбросили их за Дон, вон на те синеющие кручи. Он же выделил сержанта, который ночью провел меня в одиночный окоп, где в «секрете» сидели два солдата. От них я и узнал, что примерно метров на пятьсот ниже нашего окопчика — и на левом берегу Дона — начинался уже вражеский фронт. А здесь — они были на том берегу Дона, разрезанного островком, поросшим густым кустарником.

Сутки я просидел в этом замаскированном окопчике, очень мало увидел, но зато узнал, что немцы ночью на островок обычно высылают охранение: а так — ведут себя спокойно, не задираются. Действительно, за весь день они по нашему берегу только два или три и открывали тревожащий огонь.

Больше же всего меня обрадовали вот эти слова:

— И мы их не задираем: нет приказа соответствующего.

Значит, неудачи на фронте не сломили боевого духа солдата!

Переходить линию фронта я решил здесь, в районе наших дозорных. Поэтому уже на другой день, едва стемнело, отряд проскользнул на островок и затаился там. И сидели мы на островке до тех пор, пока туда же не пришло вражеское охранение. Выждали еще немного, чтобы дать ему освоиться и заняться наблюдением за нашим берегом, и скользнули в Дон, переправились на его правый берег, почти туда, откуда прибыли фашисты; я предполагал, что здесь, надеясь на свое охранение, они наиболее беспечны. Похоже, мой расчет был верен: переправились вполне благополучно и сразу же залегли в балке, которую я заметил еще с того берега, из одиночного окопа.

Почему именно в ней? Опять взял «поправку» на психологию врага: действительно, если они утром все же обнаружат, что ночью кто-то перешел на их берег, разве будут они искать его около места переправы?

Вот и просидели мы в балочке весь день. А на гребне ее (метрах в двухстах от нас) дежурили два вражеских солдата. Конечно, это обязывало нас к особой осторожности, но зато, кроме этих двух, других немцев за весь день мы не видели.

Наступила ночь — я повел отряд «на работу», оставив около двух фашистских солдат Николая Клековкина и еще трех человек, строго наказав: как только прогрехочет хоть один раз взрыв — немедленно снять этих и захоронить в Дону; если начнет светать, а взрыва не будет — завтра ночью снять дозорных и идти вниз по Дону, где они на нас обязательно и наткнутся.

Снять фашистов я приказал лишь для того, чтобы враг начал искать нас в этом районе, чтобы он подумал, будто мы, выполнив задание, уже ускользнули на наш, левый, берег Дона.

Первым объектом взрыва стала понтонная переправа, которая оказалась за ближайшим к фронту изгибом Дона; про нее мне упоминал и Белоцерковский, знакомя с обстановкой.

Когда мы подошли к переправе, на тот берег сошла концевая машина колонны. И вот лежим мы затаившись.

В поле нашего зрения — переправа и часовой, прохаживающийся около въезда на нее с нашего берега; чуть в сторонке — бункер, в котором еще пять вражеских солдат.

Приказываю Саше Копысову (даю ему семь человек) блокировать бункер и быть готовым закидать его гранатами, если не удастся бесшумно убрать не вовремя высунувшегося из него фашиста, или сразу после того, как мы взорвем переправу. А сам, взяв с собой Никиту Кривохатко, Крамарева и еще двух матросов, пополз к часовому, чтобы снять его. Конечно, я понимал, что не дело командира отряда снимать часовых, но на этот раз поступить иначе просто не мог: очень хотелось, чтобы в первую ночь была обязательно удача; честно говоря, в ту ночь, если бы я мог разорваться на несколько частей, то был бы и с Клековкиным, и с Копысовым, и на переправе.

Ползем к часовому, а я злюсь на ночь: она темная, но уж чрезвычайно тихая. Кажется, что удары моего сердца метров на сто должны быть слышны. И вдруг, когда до часового оставались считанные метры и я выжидал лишь благоприятный момент, чтобы броситься на него, сзади меня кто-то сдавленно всхлипнул. Оглянулся и вижу, что один из матросов, которого мы взяли в отряд по настойчивой просьбе командира части, весь трясется в беззвучном плаче.

В мирной нашей жизни, случается, мы иной раз долго и настойчиво перевоспитываем какого-нибудь молодца, упорно и неоднократно пытаемся доказать ему, что выходить из комнаты нужно в дверь, а не через окно. В той обстановке я был лишен подобной возможности. За какие-то доли секунды у меня в сознании промелькнуло, что на волоске висят и судьба задания, и наши жизни. Решение нашел только одно, поэтому и прошипел Крамареву, который был рядом со мной:

— Убрать!

Надеюсь, вам, дорогие читатели, понятно, какой смысл я вкладывал в это слово?

Через секунду или две сзади что-то чуть слышно прошуршало, так невнятно и кратковременно, что часовой не уловил этого шума. И почти сразу же фашист повернулся к нам спиной, чего мы только и ждали.

Для нас заложить заряды было делом нескольких минут, а вот рвать переправу пока не хотелось: может,

хоть какая-нибудь машинешка да взойдет на нее в ближайшие минуты?

Скоро со стороны Сталинграда показались горящие фары. Мы, совладав с нервами, все же смогли дождаться, пока машина вошла на переправу, и тогда крутанули ручку подрывной машинки.

Почти одновременно Саша Копысов забросал бункер гранатами.

Теперь как можно скорее убраться подальше от этого места!

Однако, судя по поведению гитлеровцев, они не придали особого значения этому нашему ночному взрыву. Может быть, потому, что развалины бункера Саша облил бензином из канистры, найденной около его наружной стены, и огонь уничтожил наши следы? Может быть, фашисты все это приписали несчастному случаю. Не знаю. Но и новые дозорные, около которых мы расположились на дневку, вели себя сравнительно беспечно: за противоположным берегом Дона еще следили, а назад ни разу не оглянулись.

На месте дневки я вдруг и увидел того матроса (назовем его условно Яковом), увидел живого. Немедленно спросил Крамарева, как это понимать? Или мои приказания уже не обязательны?

Он спокойно выдержал мой взгляд и ответил:

— Виноват, но я понял ваше приказание дословно. Вот мы и убрали его: заткнули кляпом рот, связали руки и ноги, ну и откатили в сторону, чтобы не мешался под ногами.

Мне нечего было возразить.

Этот случай, как мне кажется, дает представление о том, какие инициативные и самоотверженные люди были в отряде. И еще — теперь вы, читатели, знаете, что в первую же ночь пребывания во вражеском тылу я обнаружил в отряде человека, которого посчитал трусом. А что может быть страшнее этого, да еще в условиях, когда вокруг тебя враги?

Двадцать двое суток проработали мы во вражеском тылу. И каждую ночь что-то взрывали, топили. Случалось, это была одна переправа. Но чаще — сразу несколько объектов подвергалось нашему нападению. Например, 7 сентября нами уничтожен узел связи, паром с танками и две переправы, а 15 сентября — две переправы.

Я не берусь назвать точные итоги нашей работы во вражеском тылу на реке Дон (слишком много времени прошло с тех пор и боюсь хоть в малом, но ошибиться). А эти данные о нашей работе за 7 и 15 сентября я привел лишь потому, что они указаны соответственно — в газете «Правда» (статья «Минеры на Дону») и в книге бывшего члена Военного совета Волжской военной флотилии контр-адмирала Н. П. Зарембо «Волжские плесы».

Столь сравнительно большой объем работы нам удалось осуществить исключительно за счет того, что, освоившись на местности, мы стали иногда (если обстановка позволяла) разделять отряд на звенья, которым и поручали почти одновременное уничтожение различных объектов (порой удаленных друг от друга на значительное расстояние) и обязательно самыми разными способами. Так, если первую понтонную переправу мы просто взорвали, то те, о которых упоминается в книге Н. П. Зарембо, были уничтожены с помощью плавающих фугасов, а паром с танками был перехвачен нашими легкими водолазами уже в пути; они заложили под его днище мины, которые взорвались тогда, когда водолазы были от него уже на безопасном расстоянии.

Чтобы вы имели представление о том, как мы это делали, остановлюсь лишь на нескольких эпизодах, характеризующих наше житье-бытье и работу.

Мост на сваях мы увидели на четвертые сутки нашего пребывания на Дону. По нему почти непрерывно шли машины, выдерживая минимальный интервал. Лучшего объекта для взрыва трудно желать. Но как к мосту подобраться, если с обеих берегов подходы к нему заминированы и окутаны колючей проволокой, на которую навешены пустые консервные банки и прочее, что могло греметь?

Почти трое суток (не прекращая работы вообще) я наблюдал за этим мостом. Наконец созрело решение: взрывать его плавающими фугасами. А для этого нужно было как можно точнее знать направление струй течения и запустить фугасы так, чтобы они вынесли их на сваи моста.

На наше счастье, выдалась грозовая ночь. Хоть глаз выколи. Ветер и косой дождь, ливший как из ведра. Даже ракеты, которые выпускали немцы, лишь на очень короткое время выхватывали из темноты кусочек Дона,дохматого от волн.

Для нас лучшей погоды не придумаешь!

И, приказав готовить фугасы к запуску, я вошел в Дон, поплыл к мосту. До его свай добрался благополучно, осмотрел все, что нужно было, а стал возвращаться — допустил психологическую промашку: позволил себе подумать о том, что мне сейчас придется долго плыть, да еще против течения и волн, которые, сбивая дыхание, захлестывали с головой. Ведь знал, что нельзя допускать ничего подобного, а допустил!

Подумал так — и почти сразу к ногам и рукам будто гири подвесили, почти сразу черт знает что мерещиться стало; то чудилось, что я сбился с направления, то словно весла начинали шлепать по воде где-то рядом. Даже появилась мысль, что нужно вылезть на берег и по нему пробираться к месту пуска фугасов.

Еле пересилил себя, еле заставил плыть точно против течения, мысленно отсчитывая время.

Плыл, казалось, невероятно долго, уже почти окончательно выбился из сил, когда при вспышке молнии вдруг увидел в волнах голову человека. Моя физическая и психологическая усталость были настолько велики, что даже не подумалось о том, что это может быть кто-то из моих матросов, я почему-то решил, что это обязательно фашист. Решил так — достал нож и не плыл, а лишь удерживался на поверхности: копил силы для нападения на неизвестного.

Какова же была моя радость, когда плывущий сказал:

— Это я, Крамарев.

С его помощью добрался до берега, выполз на него, а вот встать сил уже не хватило. Так, сидя на сырой земле и дрожа от холода, и отдавал приказания. По-моему, еще и половины их не отдал — подошел ко мне Саша Копысов, протянул свою одежду и сказал тоном, не допускающим возражений:

— Переодевайтесь, мое обмундирование почти сухое.

Я не заставил себя упрашивать, переоделся в одежду, еще хранившую тепло Саши, и сразу сил вроде бы прибавилось.

Фугасы мы связали попарно и шнурками длиной метра в полтора или два и пустили малым веером примерно с середины реки, предварительно удалив их друг от друга на всю длину шнура.

Как и предполагали, эти шнурки полностью оправ-

дали себя: очень трудно, даже почти невозможно со сравнительно большого расстояния направить одиночный фугас так, чтобы течение вынесло его точно на сваи, зато теперь, связанные попарно, фугасы брали сваи в своеобразные клещи, опоясывали их шнуром, сближались, сталкивались со сваями или друг с другом, и тогда гремел взрыв.

Взлетел мост на воздух — настало время узнать, какая сила вытолкнула Крамарева встречать меня. Спросил об этом, и оказалось, что все было «предельно просто»: тревожась обо мне, шесть матросов вошли в разгулявшийся Дон и расположились поперек его на примерном пути моего возвращения; они не сопротивлялись течению, которое сносило их в мою сторону.

Нужно ли комментировать?

А в одну из последних ночей нашего пребывания во вражеском тылу остатками взрывчатки мы уничтожили причал. Наступило утро, прибыли немецкие инженерные части, и уже к вечеру все восстановили. Мы расценили это как личное оскорбление. И сразу же захотелось взорвать этот причал, да так, чтобы и восстанавливать было нечего. А как это сделаешь, если взрывчатки нет ни грамма? Единственное, что я мог, — послать легких водолазов во главе с Бабкиным, чтобы они подпилили сваи.

Как говорится, близок локоть, да не укусишь! И вдруг Николай Клековкин говорит:

— Недалеко у фашистов склад имеется. И оружие, и все прочее там. Может, сходим?

Задание свое мы уже перевыполнили, следовательно, я мог считать, что теперь мы принадлежим себе, и поэтому уже следующей ночью с двенадцатью матросами проник на территорию небольшого склада. Мы подползли к тому помещению, где, по словам Клековкина, хранилась взрывчатка.

Помещение — землянка, скаты крыши которой опускались на землю. Точь-в-точь овощехранилище. Перед единственной дверью — вытоптана площадка. К ней и подбегала тропинка от караульного помещения. И часовой торчит у двери. Похоже, уже понявший, что на советской земле, да еще ночью, лучше не разгуливать, а стоять, прижавшись спиной к чему-нибудь прочному, надежному. Вот и подпирал спиной дверь. Смотрел только в ночь, в нее и целился из автомата.

Залегли мы вокруг площадки перед дверью этого складского помещения, а что делать дальше — в голову не идет: ведь часовой на сантиметр от двери склада не отрывается!

Не помню, сколько времени, но долго мы пролежали в бездействии. Я начал уже подумывать о том, что вот-вот и смена часовому придет, как бы нас не обнаружили; хотя и оставил своих людей у караульного помещения на этот случай, но все равно на душе было тревожно: во вражеском тылу мы находились, здесь любой промашки или случайности было достаточно, чтобы себя и общее дело загубить.

Казалось, только и оставалось нам — потихоньку вы-ползать с территории склада. И в этот самый критиче-ский момент тот самый матрос, который так безобразно перетрусил в первую ночь, тихонько, очень осторожно выкатил на тропинку свои карманные часы. Они легли в пыль и призывно блестели в лунном свете.

Интересно, заметит часовой их или нет? И как от-реагирует?

Часовой заметил часы. И сразу глаза его будто при-липли к ним, казалось, теперь он только их и видел.

Я словно бы в кино попал, где постановщикам филь-ма очень точно удалось «расщепить» человека на две его натуры. Теперь я увидел, что в этом часовом все время жили два человека: осторожный, даже трусливый, и жадный, готовый из-за вещи — «трофея» — обороть пер-вого; часовой то дергался к часам, делал шаг по на-правлению к ним, то еще плотнее прижимался спиной к двери склада.

Для меня время словно остановилось, я забыл и про караульное помещение, и про то, что ночь не бесконеч-на. Меня интересовало и волновало одно: кто одолеет в борьбе двух этих людей — трус или жадина?

Наконец часовой метнулся к часам, схватил их... Еще через несколько минут мы, нагрузившись взрывчаткой, уже ушли с территории склада и вновь остановились у того злополучного причала.

Фронт мы перешли опять же в распоряжении ба-тальона Белоцерковского. И какова же была наша ра-дость, когда оказалось, что те две полуторки, на которых мы прибыли сюда, терпеливо ждали нас все это время. Почти месяц ждали, хотя каждая машина была крайне нужна на фронте! И мы были бесконечно благодарны

командованию за это. Так распорядиться мог только очень человечный человек.

Тридцать бойцов я увел с собой во вражеский тыл. Ровно столько и вернулся. Причем единственным раненым, вернее, контуженным, оказался я: никак не мог предполагать, что свою взрывчатку закладываю туда, где уже лежит фашистская; ну взрывом меня и поставило на голову за то, что нарушил инструкцию: не отошел на достаточно безопасное расстояние, не лег на землю.

На первый взгляд, то, что мы все вернулись, может показаться сказочно невероятным, но я считаю, что все это легко объяснимо. И прежде всего тем, что мы ни разу не повторили самих себя, что всегда в работу вносили какой-то новый элемент, который оказывался для врага неожиданным и путал его расчеты. Например, после взрыва фугасами того моста, где Крамарев встретил меня на реке, фашисты поймали несколько фугасов, осмотрели, изучили и теперь на подходах к переправам у них на лодках дежурили специальные люди, в обязанность которых входило осматривать каждую веточку, каждый клочок травы, подносимые течением к переправе (именно так мы маскировали нажимные «усы» тех фугасов). Обнаружив это, мы стали умышленно засорять Дон травой и ветками. То-то хлопот было вражеским наблюдателям!

А фугасы мы теперь притопили с таким расчетом, чтобы они полностью шли под водой.

Или взять другой пример. Все первые взрывы обязательно гремели ночью. Как следствие — фашисты ночами стали усиленно освещать все подходы к своим переправам. Всю ночь, только погаснет одна ракета, вспыхивает другая. Однако случалось и так, что ракета еще горит, а переправа уже взлетает на воздух. Разгадка проста: еще днем, когда немцы были сравнительно беспечны в охране переправы, когда они ощупывали глазами только плывущие ветки и траву, главный старшина Бабкин или кто-то другой из легких водолазов скрытно, под водой, подбирался к переправе, крепил заряд с взрывателем замедленного действия и уходил обязательно вниз по течению; здесь фашисты его не искали (они следили только за верхним по отношению к переправе плесом) и, добравшись до заранее обусловленного места, дожидался нас. Иногда в течение двух или даже трех суток дожидался, затаившись.

А наша работа звеньями и сразу на нескольких объектах? Где и кого искать врагам было?

Разумеется, не будь фашистам каждый солдат крайне нужен под Сталинградом, они, мобилизовав внушительные внутренние силы, возможно, и выследили бы нас, зажали бы где-то, и кто знает, в каком виде вышли бы мы из той ловушки. Да и вышли ли?

Теперь же нас искали, как правило, только усиленные патрули с собаками или без них, случалось, и самолеты кружили над степью. Безрезультатно кружили.

Основным нашим дневным убежищем был Дон-батьюшка: загрузив за пазуху камни или какие-нибудь железяки, взяв в рот срезанную камышинку, мы часто на весь невероятно длинный день ложились на дно реки, чтобы ночью опять выйти на работу.

Однако при первой возможности мы старались дневать на берегу: на дне реки не отдых, а одно мучение. Ведь сентябрь шел, вода-то не черноморская; да и опасно: вдруг кого-то все же сморит усталость, он хлебнет воды и встанет во весь рост, да еще в тот момент, когда вблизи фашисты?

На берегу мы дневали, если была такая возможность, обязательно поблизости от какого-нибудь стационарного вражеского поста (тут нас не искали) или на совершенно открытом взгорке, прорезав под дерном норы и забившись в них. Но последнее было возможно лишь в том случае, если мы могли куда-то спрятать землю, вынутую из нор. А ведь ее обязательно оказывалось много.

И лишь один раз мы ночевали в казачьей станице, название которой, к моему огорчению, стерлось в памяти. Загнали нас туда фурункулы, которых у каждого из нас было предостаточно. Так они нас измучили, что я решил одну ночь просто отдохнуть более или менее по-человечески. Поэтому, предварительно разведав обстановку, мы и просочились в станицу, заняли пять дворов, стоявших рядком, и выставили охранение.

Казáчки встретили нас радушно, заохали, запричитали и моментально повытаскивали из сундуков белье мужей и сыновей, начали накрывать столы.

Я уже «оттаял», меня начало клонить в сон, и вдруг дверь отворилась и в сопровождении моих матросов вошел одноногий казак, поздоровался и потребовал у меня документы, удостоверяющие мою личность.

Сон мой, разумеется, улетучился, взбунтовалось все

мое настрадавшееся нутро, и я так этому казаку ответил, что он радостно заулыбался и про документы больше ни слова. А еще немного погодя мы узнали, что в этой станции организован отряд самообороны. Его бойцы, несущие службу, и заметили нас, доложили старшему; вот он и появился.

Нам предложили спать спокойно, дескать, сбережем. Соблазн был велик, но я, поблагодарив, отклонил это предложение, согласился лишь на то, чтобы посты охраны в эту ночь были смешанными. Мне казалось, что таким путем я лучше застрахуюсь от всяких неожиданностей.

А сколько сил у нас прибавилось, когда уже на завтра с наступлением сумерек мы в абсолютно сухой и залатанной одежде покинули станицу! И я по сей день с благодарностью вспоминаю всех ее жителей, оказавших нам посильную помощь. И не заглянули мы туда вторично лишь потому, что некогда было, да и боялись своим визитом ненароком накликать на станичников беду.

Хотя гитлеровцы искали нас сравнительно малыми силами, однажды они все же нащупали нас. Вот тут сразу появились и машины с автоматчиками, и даже два танка. Не приняв боя, мы стали отходить в ночь. Но меня сразу насторожило то, что немцы почему-то не напали на нас яростно, как они это умели, а вроде бы только отжимали на юг. Словно им нужно было, чтобы мы шли именно туда. Действительно, слева и сзади были они, справа — минное поле, и лишь впереди — очень подозрительная тишина.

Очень подозрительная тишина была впереди. Поэтому я лег и пополз по минному полю, руками ощущивая каждый сантиметр земли перед собой. Моментально рядом со мной пристроился и Печалин. Так и ползли мы с ним рядышком, ползли через все минное поле, обезвреживая вражеские мины. За нами в полной тишине и также ползком следовали остальные (только охранение, умышленно поотстав, нарочно ввязалось с фашистами в перестрелку), а ведь у некоторых из матросов на спине в этот момент было по тридцать и более килограммов взрывчатки! Но ни одной просьбы хотя бы о кратковременном отдыхе я не услышал!

Может быть, потому, что все понимали: наше общее спасение зависело от точности работы наших с Печалиным рук и от тишины, маскировавшей наше движение.

Позднее я сотни раз похвалил себя за то, что раньше интересовался конструкциями всех немецких, даже противопехотных мин, что не стеснялся перенимать от армейских саперов приемы разминирования вражеских сюрпризов. Ох, как все это пригодилось в эту ночь!

Нервное напряжение было настолько велико, что я минут пять не мог заставить себя встать на ноги, когда мы уже миновали минное поле...

Вот так мы и жили, и работали все двадцать двое суток. Конечно, случалось и анекдотичное, над чем потом долго смеялись. Так однажды, продвигаясь к месту новой работы, мы натолкнулись на вражеский обоз из пяти подвод. Немедленно прикончили солдат (их было всего девять), на подводы погрузили свою взрывчатку и повернули обоз туда, куда было нужно нам. Я, как обычно, шел впереди, сразу за разведчиками, и вдруг сзади, где тащился обоз, прогрехотал короткий взрыв. Что взорвалось — так и не понял. Конечно, побежал к обозу. И вот вижу: спокойно стоит лошадь, за ней — мой матрос. На полусогнутых ногах, как и сидел на передке телеги. И вожжи в руках держит. А вот передних колес у телеги нет! Есть лошадь, есть оглобли, есть матрос-кучер, даже взрывчатка лежит в полном порядке, а передних колес у телеги нет!

Оказывается, колесо наехало на какую-то шальную мину, ну та и взорвалась. И все это произошло так быстро, так внезапно, что наш ездовой даже вожжей из рук не выпустил, не успел испугаться.

Но что меня особенно радовало — за время этого рейда наш отряд превратился в большую и дружную семью, где каждый точно знал свое место и очень дорожил им.

Вообще же случай с Яковом, как и рассказ Л. Соболева о Перепелице, стал своеобразной вехой на моем литературном пути: он заставил меня еще пристальнее всматриваться в человека, открыл мне, что даже в одном человеке в какой-то момент можно обнаружить и кого-то другого, прячущегося под той же личиной. Действительно, Яков служил со мной до конца войны, я видел его во многих боях и готов кому угодно доказывать, что он храбрец. Но!..

Ему обязательно нужно было какое-то время, чтобы оглядеться, освоиться — такова уж оказалась особенность его природы.

Именно такой возможности он и не имел до той злополучной для него ночи, вот и растерялся, запаниковал, да еще так, что сам себя чуть не погубил.

Однако я склонен предполагать, что в его становлении, как воина, большую роль сыграло и то, что попал в беду он именно в нашем отряде. Случись нечто подобное в другом, менее устойчивом коллективе, может быть, люди отшатнулись бы от него? И вот как бы он повел себя в тех условиях — еще вопрос. А у нас его ни на минуту не оставляли одного, у нас будто бы и не заметили его огреха (никогда прямо не напоминали о случившемся), но непрерывно воздействовали на его психику, рассказывая эпизоды, из которых победителями неизменно выходили советские воины. Наконец, его не отстранили от работы, его по-прежнему брали с собой почти на каждое снятие часового, и — опять же! — своими действиями воспитывали в нужном направлении.

Поэтому к концу рейда он и оказался абсолютно «здоров», поэтому, вернувшись в Сталинград, я с чистой совестью и ходатайствовал о награждении его.

Весь наш отряд командованием был представлен к правительственным наградам и получил их: я — орден Красной Звезды, а матросы — медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Нужно ли говорить, что мы были на седьмом небе от радости и гордости?

Правда, когда враг под Сталинградом был уже разбит и началось массовое награждение участников этой битвы, я почувствовал, что моих матросов могли бы отметить и более щедро: ведь за взрыв только одного моста или переправы по статусу полагается орден Отечественной войны, а скольких подобных взрывов мы были «виновниками»?

Уже позднее мне довелось заглянуть в те наградные листы, которые ушли из нашей бригады к высшему начальству, и многое стало ясно. К сожалению, в них почему-то полностью отсутствовал цифровой материал (или тайну оберегали?). Там только и было сказано, что матрос такой-то, выполняя задание, проявил себя храбрым, инициативным.

А ведь весь цифровой материал был получен не от нас, а из армейских частей, заверен соответствующими должностными лицами.

Или наше начальство тогда еще не умело писать наградные листы?

Но так или иначе, мы были очень рады своим первым наградам, прикрепили их тут же, в Ахтубе, и так, распахнув бушлаты (пусть все видят!), шли до Сталинграда, где по-прежнему грохотали взрывы многочисленных бомб.

В СРАЖАЮЩЕМСЯ СТАЛИНГРАДЕ

30 сентября, выступая в рейхстаге, Гитлер хвастливо заявил: «Мы штурмуем Сталинград и возьмем его — на это вы можете положиться... Если мы что-нибудь заняли, оттуда нас не сдвинуть».

Мы, возвращаясь в Сталинград (1 октября), ничего не знали об этом бахвальстве, мы просто видели над городом стаи вражеских бомбардировщиков. Будто за то время, что мы провели на Дону, они и не покидали неба над Сталинградом.

Самолеты бомбили районы заводов, бомбили безжалостно, и каменные стены то и дело бесшумно рушились, вздымая к небу клубы желтоватой пыли. «Бесшумно рушились» — это для нас, которые в то время были километрах в восьми от места бомбежки. Но мы хорошо представляли, что творилось там, в районе бомбежки.

И еще мы увидели, когда проезжали мимо переправы, выложенное побеленными камнями: «За Волгой для нас земли нет!»

Тогда мы еще не знали, что эти простые и такие емкие слова, ставшие для всех защитников Сталинграда боевым призывом, своеобразной клятвой, впервые были сказаны тихоокеанцем, старшиной и снайпером В. Г. Зайцевым. Мы просто всем сердцем и сразу приняли их.

Около месяца нас не было здесь, а многое неузнаваемо изменилось в лучшую сторону. Теперь все силы флотилии были сосредоточены в кулак, и хотя приходилось решать самые разнообразные задачи, флотилия успешно справлялась с ними: канонерские лодки и плавающие батареи стояли на огневых позициях и по первому требованию армейского командования (и даже без требования, по собственной инициативе, если цель была хороша) немедленно открывали настолько точный и мощный огонь, что однажды командование фронтом прислало в их адрес такую телеграмму: «Спасибо, Волга!»;

бронекатера тоже периодически становились на огневые позиции и, кроме того, вместе с катерами-тральщиками участвовали и в конвое караванов и работали на сталинградских переправах;

на катерах-тральщиках (Отдельной бригадой траления теперь командовал капитан 1-го ранга П. А. Смирнов) гордо высились крупнокалиберные пулеметы и даже малые автоматические зенитные пушки. К этому времени катера-тральщики уже имели (правда, в ограниченном количестве) и самые различные тралы, пригодные для борьбы с любыми неконтактными минами; даже трал-баржи имели, которые на других морских театрах зарекомендовали себя как одно из наиболее эффективных средств борьбы с минами. Это потом, весной и летом 1943 года, их будет у нас почти достаточно, и будут они многоотсечными, что значительно увеличит их живучесть, а тогда мы радовались и обыкновенной барже-грязнухе, тогда мы и ее борта любовно оглаживали своими ладонями: «Не подведи, родная!»

Многое изменилось в лучшую сторону, но, к сожалению, иногда нам все же приходилось не уничтожать вражеские минные поля, а ограничиваться лишь тем, что мы отыскивали фарватер для караванов и обозначали его МИННЫМИ БАКЕНАМИ, то есть тот же бакен переворачивали раструбом вверх.

Кое-где длинные, извилистые коридоры возникли из этих бакенов.

Вернулись мы с Дона — меня сразу же назначили флагманским минером Отдельной бригады траления. Неуютно я почувствовал себя в этой должности, и прежде всего потому, что внутренне еще не созрел для подобной работы. И общих теоретических знаний, и организаторских навыков у меня было еще маловато. Да и руководить мне теперь пришлось даже такими дивизионными минерами, как старший лейтенант Н. Лупачев, который прибыл к нам после окончания Военно-Морской академии. Разве можно было его теоретический багаж сравнивать с моим? Напомню, что по основной своей специальности я был все же минером-подводником, то есть в свое время детально изучал оружие, основательно отличающееся от теперешнего. Именно в это время я сто раз вспомнил слова адмирала Кузнецова, сказанные нам, выпускникам училища.

Было это (если память не изменяет) в феврале или

первых числах марта 1941 года, когда нарком Военно-Морского Флота адмирал Кузнецов приехал к нам в училище. И пожелал встретиться и поговорить с нами, выпускниками.

Говорил он о перспективах роста нашего Советского Военно-Морского Флота вообще и Балтийского в частности, о том, что мы, хотя и заключили мирный договор с Германией, должны быть готовы к войне. К войне с кем — он, конечно, не говорил, больше нажимал на то, что нам придется еще очень многое сделать для того, чтобы наш флот по своей боевой мощи стал сильнейшим в мире. А закончил он свою речь примерно так:

— Что же вам пожелать? Пожалуй, одного: скоро вы станете лейтенантами, уйдете на корабли, и пусть никто из вас быстро не продвигается по службе.

Тут, помнится, по залу прошелестел приглушенный смехок. Нарком уловил его, засмеялся и сказал:

— Думаете, вот какой эгоист Кузнецов: сам за несколько лет в наркомы вышел, а нам желает медленного продвижения по службе... Что ж, мысль мою вы правильно схватили. А почему я такое пожелание высказал — поймете позднее, когда службу по-настоящему почувствуете.

До меня смысл пожелания адмирала Кузнецова дошел теперь, в октябре 1942 года.

Да, неуютно чувствуешь себя на высокой ступеньке, если с предыдущей еще не вполне освоился.

А тут еще и начальник штаба ОБТ капитан 2-го ранга А. А. Асямолов, в подчинении которого я оказался, принимал меня, как тогда казалось, всевозможными придирами. Например, сегодня я иду на переправу обеспечивающим. Докладываю, что к выполнению задания готов, а он мне — вопрос:

— Почему не вижу вашего плана работы на переправе?

— Да как же я составлю план работы, если не знаю, что конкретно мне придется делать?

— Тем более нужен план, — стоит на своем невозмутимый начальник штаба бригады, которого в своем кругу мы, штабные специалисты, зовем «Три А».

В душе безбожно ругаясь, бегу к себе в каюту, наскоро царапаю «план» и снова спешу к Асямолову (ведь до начала моей работы на переправе осталось так мало времени!). И опять он очень внимательно знакомится

с моим творчеством, будто не замечает нарочитой небрежности, а потом снимает пенсне и спрашивает как экзаменатор:

— Допустим, вас атакуют вражеские самолеты. Что будете делать?

— Обстановка подскажет! — лихо рублю я.

— Вот и опишите варианты возможной боевой обстановки и ваши действия.

И я снова писал, и снова он браковал мою работу. Но на переправу я прибывал неизменно в указанное время.

Тогда для меня не было человека ненавистнее Асямолова, будь моя воля — немедленно выгнал бы его с флота, чтобы «не терзал придирками молодых талантливых командиров». Это уже значительно позднее я понял и оценил его, проникся к нему самым искренним уважением: ведь это он своими «придирками» заставлял меня заранее обдумывать предстоящую работу.

Не потому ли я и заканчивал ее неизменно удачно?

Сталинградские переправы...

Наш катер-тральщик еще только подходит к мосткам на левом берегу, где нам предстоит взять солдат, а фашисты уже открывают по нам огонь. Бьют из пушек и минометов. И мы идем между столбов воды, поднятой взрывами. Со стороны все это выглядело, возможно, и красиво, но мы этого не замечали. Не до внешней красоты нам было.

Случалось, благополучно — без потерь — подходили к месту погрузки. Только притыкались к мосткам — вражеские снаряды начинали рваться около них. Нас обдавало землей, и зазубренные осколки смачно вливались в деревянные борта катеров-тральщиков. Но мы, как и солдаты, которых нам предстояло перебросить в Сталинград, на это не обращали внимания, мы знали: то ли еще ждет нас впереди!

Солдаты быстро занимали указанные им места. Те, кому выпало быть на верхней палубе, заряжали винтовки и автоматы: готовились открыть огонь по первому приказанию. И оно почти во время каждого рейса отдавалось: вражеские самолеты обязательно подстерегали нас на пути к правому берегу.

Едва выходили к середине Волги — вражеский огонь

становился еще ожесточеннее, теперь всплески, встававшие по нашему курсу, стеной отгораживали нас от Сталинграда.

Мы носом катера прорезали эту стену, чтобы через минуту оказаться перед другой такой же или еще более плотной...

Вот вражеская мина рванула на палубе одного из катеров-тральщиков. Столб огня, грохот и... нет больше катера-тральщика — он затонул. В воде, конечно, плавают люди, надо бы подобрать их, но мы упрямо идем вперед. Мы видим только сталинградский берег, с обрыва которого к нам летят трассирующие пули. Среди солдат, принятых нами на свой борт (да и среди личного состава катера-тральщика), многие были уже ранены. Но мы идем в Сталинград!

Однажды во время такого похода что-то неуловимо быстро прошелестело у моих ног, и с такой силой, что меня качнуло к задней стенке рубки. А еще через мгновение я, командир катера-тральщика и рулевой мысленно воздали хвалу тому, кто сделал нашу рубку из фанеры: вражеский снаряд прошел ее от борта до борта. Прощмыгнул буквально между наших ног — и не взорвался!

Огромная радость для всех нас, находившихся в рубке катера, уже одно то, что этот снаряд не взорвался, не оборвал наши жизни. Но, пожалуй, не меньшую радость я испытывал и утром, когда на базе матросы рассматривают пробоину, многозначительно переглядываются, и рулевой Минченко, пряча в глазах усмешку, врет им:

— И все благодаря капитан-лейтенанту (мне, значит) тот снаряд промашку дал. Каплей-то увидел его и кричит нам с Мараговским: «Шаг назад... марш!» Ну, известно, и промазал снаряд...

Только у самого правого берега сравнительно спокойно: обрыв скрывает нас от глаз фашистских пулеметчиков и автоматчиков, здесь рвутся лишь мины и бомбы.

Высаживаем десантников. К сожалению, часть их остается на катере — они ранены. Потом наступает самый неприятный момент — выгрузка боезапаса и продовольствия. Неприятный потому, что из-за ящиков с патронами, гранатами, снарядами и минами солдаты почти

дерутся, а вот мешки с крупой и все прочее съедобное очень часто выгружать приходится нам самим.

Один из солдат, как мне помнится, так высказался на мой упрек:

— Ты что, дурной, пшенку возишь? Ты мне патроны и гранаты давай, а жратву я сам добуду!

И вот, приняв на борт раненых, мы идем обратно, к левому берегу, чтобы за эту же ночь еще несколько раз повторить все сначала.

Однажды, закончив работу, мы на катере-тральщике Мараговского еле дотащились до левого берега, с полного хода выбросились на его песчаную отмель. Только потому выбросились, что не надеялись своими силами удержать катер-тральщик на плаву. Когда мы энергично принялись за его спасение (и спасли!), в его подводной части и бортах оказалось 342 пробоины.

Между прочим, 342 пробоины — далеко не рекорд: в бортах и подводной части другого катера-тральщика их было 670!

Мне кажется, и дошли мы до берега, и спасли катер, и быстро отремонтировали его потому, что знали точно: в нас очень нуждаются защитники Сталинграда, те самые герои, которые упорно не хотели сдавать врагу обуглившиеся развалины города.

Много славных товарищей мы потеряли на сталинградских переправах. Так, Маршал Советского Союза А. И. Еременко в своих воспоминаниях утверждает: «Потери в личном составе бронекатеров при перевозках доходили до 65 процентов».

А ведь бронекатера, как можно судить даже по самому названию, имели броню. Так каков же процент потерь был на катерах-тральщиках, где борта чаще всего были деревянными, а рубки из фанеры и стекла?

Поверьте, далеко не всегда вражеские снаряды не взрывались.

Некоторые из моих друзей как-то незаметно пали на своих боевых постах, пали от вражеских пуль и осколков, а другие...

Командир дивизиона катеров-тральщиков старший лейтенант Ульянов, с которым я в мае вернулся в Сталинград, тоже погиб смертью храбрых на сталинградских переправах. В тот катер, на котором он нес свой флаг, угодили два снаряда и разворотили борт. Катер начал тонуть.

«Капитан погибает со своим кораблем!» Эта фраза из какой-то сентиментальной книжонки некоторым молодым командирам основательно кружила голову. Еще бы, романтика, красивая смерть!

Многие молодые командиры катеров ратовали за такую гибель, считая ее подвигом, а один из них даже попытался провести в жизнь этот «лозунг», отказавшись покинуть тонущий катер. Я на своем катере-тральщике был рядом, спасал его людей, а потом, услышав крикливое и глупое заявление, выхватил пистолет и сказал, что он умрет раньше своего катера, что я сию минуту пристрелю его как дезертира. И тот понуро перебрался ко мне и еще долго считал меня чуть ли не своим главным личным врагом.

Так вот, старший лейтенант Ульянов поставил точку, обозначившую конец той вредной дискуссии. Он личным примером доказал всем, как должен вести себя командир в самые трагические для корабля и людей минуты.

Убедившись, что проболну не заделает, что катер продержится на воде считанные минуты, он спокойным голосом отдавал команды, преследовавшие одну цель — спасти как можно больше людей. И лично проверил, не забыли ли на катере-тральщике кого из раненых. Потом побросал в реку все спасательные круги и пояса, имевшиеся на катере, и лишь после этого сам бросился за борт. Почти тотчас затонул и катер.

Все правильно сделал старший лейтенант Ульянов, одного не успел за хлопотами о людях: снять с себя ватные штаны и кирзовые сапоги. Они и не позволили ему всплыть.

На сталинградских переправах погиб и капитан 3-го ранга С. П. Лысенко, который в то время был командиром дивизиона бронекатеров.

Вражеский снаряд впился в катер, когда он еще только шел на выполнение боевого задания. В рубку, из которой ведется управление катером, впился тот снаряд. И разворотил ее, своими осколками убил или ранил всех, кто там находился.

Тяжело ранен был и Лысенко. Но, пересилив боль, он, когда к штурвалу встал его заместитель по политической части Н. Н. Журавков (тоже раненый и единственный, кто все-таки мог взять на себя управление катером), приказал ему продолжать выполнение задания.

И оно было выполнено на отлично.

С. П. Лысенко скончался уже на левом берегу Волги, куда катер пришел после выполнения задания. Скончался от потери крови.

Много, очень много замечательных товарищей и катеров потеряли мы на сталинградских переправах. И на минных полях врага гибли они, стремясь очистить путь для караванов. Ведь около 350 морских неконтактных мин сбросили фашисты в Волгу за навигацию 1942 года!

А вот нам с Мараговским прямо-таки везло: уж в такое пекло, кажется, попадали, что хуже некуда, но все равно сравнительно целыми выбирались...

Даниил Мараговский... Был он неунывающим ни при каких обстоятельствах и способным в любой самый критический момент на невероятные выдумки. Например, еще в первых числах августа, когда один капитан парохода наотрез отказался идти по непротраленной реке, Даниил вдруг вмешался в наш разговор, спросил у меня крайне почтительно:

— А почему бы нам этот караван не провести за тралом, за номером ноль-ноль-один? Я понимаю, что пользоваться им разрешено лишь в исключительных случаях, но разве сейчас не такой?

Понимая, что у него уже созрело какое-то решение, я снисходительно кивнул, дескать, действуй, и сразу же отошел в сторонку, чтобы своим присутствием не сковывать Даниила. И тогда, спустив в Волгу на коротком буксире один из безобидных буйков облегченного трала Шульца, Мараговский обратился ко всем капитанам пароходов, толпившимся здесь же:

— Знаете, что это за штука?.. Не знаете, а жаль... Поясняю: это самая последняя новинка, она ни одной мины после себя не оставит. Только понимая, сколь важны для всей страны грузы, которые вы везете, мы включаем ее... Ваша задача: выстроиться друг за другом и держаться точно за этим буйком... Если кто из вас вильнет в сторону, пусть пеняет на себя!

И катер-тральщик с этим безобидным буйком за кормой отошел от берега. За ним, стараясь держаться точно в его кильватерной струе, заторопились все караваны. Один нефтевоз даже просигналил, дескать, отстаю, прошу уменьшить скорость движения.

Сознаюсь, обманули мы речников. Но за этот обман, как мне кажется, заслуживаем не осуждения, а всяче-

ской благодарности: с наступлением ночи всю эту пробку из караванов запросто могли бы уничтожить вражеские бомбардировщики.

К сожалению, мы порой были просто обязаны прибегать к подобному обману, даже к угрозам оружием, так как, случалось, не могли найти общего языка с некоторыми речниками. Не верили они нам, молодым, которые и с Волгой-то встретились впервые в эту навигацию. Даже позднее (летом 1943 года), когда при штабе каждого дивизиона катеров-тральщиков были организованы лоцманские пункты и появился специальный представитель Наркомата речного флота, который над всеми пароходами имел неограниченную власть, с отдельными капитанами или другими речными начальниками у нас бывали столкновения, а про первые месяцы минной войны и говорить нечего.

И дело, конечно, не в том, что кто-то из речников посмел не поверить мне или кому-то из моих товарищей. Страшно и обидно было то, что это иногда вело даже к трагическим последствиям. Так, мы точно установили, что фашисты ставят мины, ориентируясь по огням речной обстановки, и приказали всем бакенщикам на ночь не зажигать огней бакенов, створов и перевальных знаков (к тому времени по ночам на Волге судоходства уже не было).

Кажется, сказано яснее ясного, но один ретивый обстановочный старшина втихомолку зажег обстановочные огни. В результате — вся Волга в эту ночь была затемнена, кроме того участка. Ну, фашистские летчики и сыпанули сюда свой груз.

Почти два года потом мы расхлебывали ту «минную кашу».

Или взять тех же вражеских ракетчиков, которые периодически появлялись на берегах Волги и пакостили нам как только могли. Были они добротнo вооружены, хорошо обучены и разнообразны в выборе средств нападения и сигнализации. Один из них, например, с противоположного берега воложки (метров с трехсот) сумел выстрелом из винтовки убить нашего вахтенного.

Оберегая караваны, мы обязательно и по возможности тщательно осматривали оба берега в районе нашей стоянки. Вроде бы ничего подозрительного не обнаружили, только самый обыкновенный рыболов (документы у него были в полном порядке) сидел с удочкой на про-

тивоположном от каравана берегу. И вел он себя как все подобные рыболовы: ловил рыбу большую и маленькую, а с наступлением ночи разжег костер, чтобы ушей побаловаться. Ну, разве могли мы предполагать, что этот костер — сигнал немецким самолетам-бомбардировщикам?

И специальным приказом все ночные огни на берегах Волги были объявлены вражескими, мы получили право стрелять по ним без предупреждения. Кажется, невозможно сказать точнее, и вдруг, пока ты обследуешь противоположный берег, костер разводит команда того самого каравана, который ты охраняешь!

Но особенно запал мне в память такой случай.

На катере-тральщике я шел по Солодниковским перекатам, где было особенно много вражеских мин, когда сигнальщик крикнул, что пароход такой-то втянулся на минное поле. Я оглянулся. Действительно, спрямляя путь, пароход уже миновал линию минных бакенов. Его нужно было немедленно остановить, чтобы не случилось непоправимого, и я приказал ударить из пулемета по воде перед его носом.

Помогло, пароход попятился, встал на якорь.

Злее некуда — влетел я на его мостик и сразу же потребовал журнал, чтобы проверить, сделал ли там лоцман специальную запись о том, как нужно идти по этому участку реки. Запись была. Тогда я, сдерживаясь из последних сил, снова рассказал капитану минную обстановку на участке, показал все это на лоцманской карте и спросил:

— Понятно?

Капитан молчал.

— Вопросы есть?

Опять угрюмое молчание.

Может быть, мне следовало остаться на пароходе, постоять рядом с упрямым капитаном, пока он не пройдет этот особо опасный участок, но я торопился в Чертовский Яр, где на песках нашли обсохшую вражескую мину, ну и перепрыгнул на палубу своего катера-тральщика.

Не успели мы пробежать и половины Солодниковской излучины, как сигнальщик крикнул:

— Он опять залез на минное поле!

Ни вернуться, ни даже дать пулеметную очередь мы не успели: огромный столб воды развалил пароход.

Я умышленно обхожу молчанием название парохода: он принадлежал Камскому речному пароходству, и пусть детей и родственников капитана-упрямца не мучает совесть, и пусть им не будет стыдно за него.

Повторяю, хотя и редко, а подобное упрямство, нежелание понять сегодняшнюю обстановку — все это, к сожалению, встречалось.

Но моя память больше впитывала в себя героического, о чем только и писать, о чем только и рассказывать.

Взять того же Мараговского, вернее, прорыв его катера-тральщика в Сталинград.

Когда фашисты перерезали Волгу выше Сталинграда, катер-тральщик Мараговского находился в Горном Балыклее, то есть оказался в своеобразном затишье, что претило всему складу природы Мараговского. И он добился, чтобы ему дали приказ на прорыв в осажденный город.

Скептики только покачивали головой: чтобы тихоходный вчерашний речной трамвай, не имеющий ни маломальской брони, ни мощных пушек, способных смести с гористого правого берега вражеские танки, да прорвался? Чтобы его утопить, врагу одного снаряда за глаза хватит!

Однако Мараговский, как и предписывал боевой приказ, с наступлением ночи отошел от берега в Горном Балыклее.

К линии фронта, намереваясь проскочить незамеченным, Мараговский подошел на самом малом ходу. Не помогло: услышали, осветили реку ракетами да так долбанули из многих стволов, что катер-тральщик сразу потерял ход, закачался на поднятых им же волнах; похоже, еще и загорелся: густой желтоватый дым повалил из машинного отделения. И вроде бы — ни одного живого человека на верхней палубе, только тела неподвижные.

Для очистки совести фашисты выпустили еще несколько снарядов и прекратили огонь: зачем тратить боезапас, если катер-тральщик и так течение прибьет к берегу, занятому ими? Только изредка выпускали ракеты, чтобы взглянуть, где он.

И вдруг, когда фашистам казалось, что катеру некуда деваться, матросы включили мотор, выбросили за борт дымовую шашку, которая до этого отравляла воз-

дух в машинном отделении, и сразу увели тральщик за стену спасительного дыма.

Или чем хуже подвиг личного состава катера-тральщика, которым командовал старшина 1-й статьи К. В. Трушкин?

Его катер, миновав зону, где и ниже Сталинграда немцы тоже вышли к Волге, резво бежал вниз по течению, когда сигнальщик доложил Трушкину о том, что на правом берегу слышит автоматную перестрелку и пулеметные очереди.

С каждой минутой стрельба становилась все слышнее, явственнее. Вот она, похоже, на траверзе катера-тральщика.

Прикажи Трушкин добавить оборотов на винт и поспеши к начальству с докладом об услышанной стрельбе, никто не осудил бы его, все признали бы его действия правильными.

Однако Трушкина не устраивало такое половинчатое решение, он не мог докладывать только о том, что слышал стрельбу. А если спросят, кто и почему стрелял? Ответить, что били русские и немецкие автоматы? Нет, на такое он, Трушкин, не согласен, он должен знать все до мелочей!

И он подвел катер-тральщик к берегу, вскарабкался к кромке почти отвесного яра и там замер на несколько секунд.

Потом скатился с кручи, приказал на катере остаться только рулевому и мотористу, а всем прочим вооружиться и следовать за ним.

Менее десяти человек с двумя ручными пулеметами, с карабинами и автоматами было в том десанте, который повел за собой Трушкин. Но в сердце каждого из них клокотала ненависть к врагу, и поэтому они ударили дерзко и дружно во фланг фашистским захватчикам, обратили их в бегство.

Как выяснилось позднее, здесь какая-то сравнительно небольшая немецкая часть прижала к береговой черте группу наших солдат. Скорее всего дело кончилось бы полным уничтожением этой группы, если бы не Трушкин и его отважный десант.

Среди нас, командиров, было много разговоров об этом эпизоде Сталинградской битвы. Кое-кто действия Трушкина склонен был считать даже глупостью, которая по счастливой случайности закончилась так, а не иначе.

Лично я в его действиях видел и вижу тонкий расчет, если хотите, полное понимание психологии врага: фашисты, разумеется, не могли предполагать, что силы десантников так ничтожно малы, ну и отступили, как они думали, спасая свою шкуру.

По ходатайству командира этой группы наших солдат Трушкин был награжден орденом Красной Звезды.

А вот мой приятель Василий Михайлович Загинайло — один из тех лейтенантов, с которыми я прибыл в Сталинград, — был награжден даже сразу двумя орденами — Красного Знамени и Красной Звезды.

За все время Сталинградской битвы мы с ним встретились только раз, да и то случайно: Василий, как отличный артиллерист, почти все время находился на наблюдательном пункте, откуда и корректировал огонь наших батарей, а меня то туда, то сюда бросали, но только не в корректировщики артиллерийского огня. Про искусство лейтенанта Загинайло управлять артиллерийским огнем наша флотильская газета сказала кратко и предельно точно: «Он так корректирует огонь, словно сам своими руками кладет снаряды в цель».

Встретились мы с ним у КП полковника С. Ф. Горохова как раз в тот день, когда Василий кончил сидение на «ничьей» земле под брюхом подбитого немецкого танка, откуда и корректировал огонь. Несколько суток пробыл Загинайло в непосредственной близости от врага, и все это время рядом с ним был только один наш человек — старшина 2-й статьи Николай Пурыкин.

Навсегда врезался в мою память и подвиг командира отряда бронекатеров старшего лейтенанта Бориса Николаевича Житомирского.

По Волге уже вовсю шло «сало», но он благополучно пробился в Сталинград и полностью разгрузился там. На обратном пути вражеский снаряд попал в рубку, разорвался и своими осколками убил командира катера, рулевого, а Житомирского ранил в обе ноги.

Положение создалось, казалось бы, критическое, но у Бориса Николаевича хватило сил и мужества встать к штурвалу и вывести катер из-под обстрела. А ведь ранения у него были настолько тяжелыми, что одну ногу сразу же пришлось ампутировать.

Катер-тральщик № 344, когда пошел к населенному пункту Купоросное, из-за мелководья не смог подойти к берегу в указанном месте. Тогда матросы П. П. Дени-

сов, В. В. Полетаев и В. Г. Россомахин на самой обыкновенной лодке перевезли с катера на берег весь груз — снаряды и мины.

И сделано это было добровольно, сделано под яростным огнем врага.

6 октября катер-тральщик № 341, приняв на борт около 200 солдат и много ящиков со снарядами и минами, пошел в район тракторного завода. Враг, как бывало уже не раз, примерно на середине Волги встретил его артиллерийскими залпами. И вот погибли командир катера старшина 2-й статьи В. Я. Салаженцев и старшина 1-й статьи М. Н. Тихонин. Тут же смертельно ранило и дивизионного минера старшего лейтенанта Н. П. Лялина. И еще — на катере, в пробоины которого хлестала вода, начался пожар.

Было отчего растеряться и абсолютно здоровому, но смертельно раненный Лялин принял командование на себя и до последней секунды своей жизни вел катер-тральщик боевым курсом.

И ведь было выполнено задание!

Никогда не забыть мне и двух подвигов секретаря комсомольской организации старшины 2-й статьи В. И. Цуркана: однажды он с матросом М. Е. Шадринным более двух часов находился в затопленном отсеке бронекатера, заделывал пробоины, откачивал воду; а в ночь на 29 октября на бронекатере № 62, на котором он служил, от взрыва вражеского снаряда загорелись ящики с минами, лежавшие на палубе. Казалось, что гибель бронекатера неизбежна, но В. И. Цуркан метнулся к горящим ящикам и, обжигая руки и лицо, побросал их в воду.

Вот так, в постоянных боях, и шла наша жизнь до ноября. А тут на Волге начался ледостав, и мы вынуждены были отойти на зимовку в различные затоны. Но и в период ледостава мы пытались ходить в Сталинград, хотя это было почти невозможно. Например, 23 ноября бронекатер № 11, которым тогда командовал лейтенант В. И. Златоустовский, от попадания вражеского снаряда потерял ход и вынужден был встречать день в такой близости от врага, что командование разрешило личному составу катера сойти на берег и на день укрыться в солдатских блиндажах. Но моряки остались на своих боевых постах; они собрали все свои простыни, замаскировали ими катер, и отсиделись в холодных кубриках до

наступления следующей ночи, и тогда все же увели свой катер на базу.

Вспомнишь все это — и невольно начинаешь думать, что Маршал Советского Союза В. И. Чуйков очень точно и лестно сказал про нас в своей книге «Начало пути»: «Наши сердца наполнялись гордостью, когда мы наблюдали за пароходами и катерами Волжской военной флотилии, которые сквозь льды пробивались к армейским причалам».

Хорошо о нас, моряках Волжской флотилии, отзывается и А. М. Самсонов в своей книге «Сталинградская битва»: «Начиная с 23 августа Волжской военной флотилии пришлось работать под непосредственным огнем противника. Несмотря на это, военные моряки с честью решили поставленную перед ними задачу. Волжская переправа работала безотказно в самых сложных условиях плавания... Канонерские лодки, бронекатера, плавучие батареи флотилии искусно взаимодействовали с сухопутными войсками, оборонявшими Сталинград, поддерживая их своим огнем, высаживая десантные группы. С 23 августа по 10 ноября 1942 года корабли флотилии выпустили по противнику 13 тысяч снарядов. В результате боевых действий флотилия уничтожила 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, 24 танка, 10 самолетов и немало другой военной техники противника. Части морской пехоты сражались на берегу, входя в состав армейских соединений...»

Да, во время Сталинградской битвы моряки сражались не только на кораблях флотилии, но и в рядах многих стрелковых бригад, полков и различных сводных отрядов. Например, только во 2-й гвардейской армии находилось около 20 тысяч моряков, а в 64-й армии, которая позднее стала 7-й гвардейской, действовали две бригады морской пехоты. И 92-я стрелковая бригада в основном была укомплектована балтийцами и североморцами.

Она была переброшена в Сталинград 18 сентября. Когда катера шли с ней к городу, фашисты кричали:

— Рус, нас на «ура» не возьмешь!

Едва катера ткнулись носом в берег, с их бортов прыгали десантники, дружно рывкнули: «Полундра!» — и сразу же бросились в бой. И действовали так умело и напористо, что пробились к центру города и упорно держались там два дня. Потом, повинуясь приказу, отошли

к элеватору, где опять по-настоящему стояли насмерть, по десять и более раз в день бросались на врага в атаки; некоторые из тех атак были психическими: моряки шли на врагов в одних тельняшках.

Остатки этой славной бригады, повинаясь приказу, из города ушли на остров Голодный (27 сентября), где из них и был сформирован батальон, который вошел в состав 308-й стрелковой дивизии и бился с врагами уже в районе завода «Баррикады».

В книге А. М. Самсонова есть и такие строки: «В боях на территории Сталинграда не было длительных оперативных пауз. Бои шли непрерывно. Они усиливались, стихали, но совсем не прекращались. Противник атаковал все снова и снова, предприняв свыше 700 атак. Советские части и подразделения, обороняясь, в то же время использовали любую возможность для нанесения контрударов. В течение всего периода борьбы с обеих сторон активно действовали артиллерия, самолеты и танки. За 68 дней оборонительного сражения в городе вражеская артиллерия выпустила около 900 тысяч снарядов и мин, не считая снарядов самоходной артиллерии, танков и малокалиберной артиллерии. Господствуя в воздухе, немецко-фашистская авиация бомбила и обстреливала советские войска, совершая каждый день от 1000—1500 до 2500 самолето-атак. На каждый километр сталинградского фронта противник израсходовал до 76 тысяч снарядов и бомб».

Однако, работая в таких воистину адских условиях, корабли нашей Волжской военной флотилии доставили в Сталинград 122 400 солдат и офицеров, 4300 тонн различных грузов, 1925 ящиков с минами, 627 автомашин и повозок, а на левый берег эвакуировали 50 тысяч раненых воинов и гражданского населения; а всего за время Сталинградской битвы различные плавучие средства флотилии сделали более 35 тысяч рейсов через Волгу. Эти цифры я взял из книги адмирала Н. Г. Кузнецова «На флотах боевая тревога».

За мужество, проявленное при обороне Сталинграда, многие моряки Волжской флотилии были отмечены правительственными наградами. Кроме того, дивизионы бронекатеров, которыми во время битвы командовали С. П. Лысенко и А. И. Песков, получили право именоваться гвардейскими, а канонерские лодки «Усыскин» и «Чапаев» были награждены орденами Красного Знамени.

Однако все же хочется обратить ваше, дорогие читатели, внимание вот на эти строки, которые я нашел в книге западногерманского генерала К. Типпельскирха «История второй мировой войны»: «Сталинград постепенно превращался в груды развалин, и в этом море руин немецкие пехотинцы и саперы, поддерживаемые танками, артиллерией и пикирующими бомбардировщиками, с ножами и гранатами в руках прокладывали себе путь от дома к дому, от подвала к подвалу и от развалины к развалине... Но чем больше становилось развалин, тем больше укрытий находили обороняющиеся...»

Лично мне очень забавной кажется эта концовка. Если вдуматься в нее, то получается, будто сами фашисты, разрушая Сталинград, создавали нам прекрасные условия для обороны.

Да, в Сталинграде бои шли не только за кварталы и дома, но и за квартиры, даже комнаты, ибо мы все ни на минуту не забывали, что за Волгой для нас земли нет; эти слова стали уже частицей нашего «я». Вот поэтому я и два матроса — Федор Носков и Евгений Попов — трое суток успешно отражали атаки врага, хотя вся наша территория тогда равнялась шестнадцати квадратным метрам в доме, что был по соседству с Дворцом пионеров; вот поэтому (уже на Рабоче-Крестьянской) когда вражеская бомба развалила наш дом, мы не отошли к другому, а тут же, в развалинах, построили себе «дзот»: укрыли досками и обломками мебели двуспальную кровать, стоявшую в комнате на первом этаже дома, на доски и обломки мебели навалили битого кирпича и из-под этого «оборонительного сооружения» еще сутки строчили из автоматов по атакующим немцам, вместо амбразуры используя дыру в стене, пробитую снарядом.

Все это было, но, поверьте, если бы только представилась такая возможность, мы с большим удовольствием и не меньшим успехом держали бы оборону в целом доме, вели бы огонь из его окон, а не из-под кровати, да еще в дыру, сделанную снарядом.

Не понял автор книги «История второй мировой войны» и еще одного, самого главного: того, что в дни Сталинградской битвы никто из нас не думал, совершает он подвиг или нет, что в те дни все мы жили одним стремлением — уничтожить как можно больше врагов и тем самым приблизить победный для нас конец войны. Вот поэтому моряк-тихоокеанец Михаил Александрович Па-

никаха (он служил в 893-м стрелковом полку) с двумя бутылками самовоспламеняющейся жидкости и пополз навстречу вражескому танку. Он был от танка уже на дистанции верного броска и даже поднял руку с бутылкой, чтобы совершить бросок, но тут пуля разбила бутылку. М. А. Паникаха превратился в живой факел. Но он все-равно бросился к вражескому танку, разбил о него вторую бутылку. Да и сам лег на его броню.

А разве не подвиг совершил Евгений Александрович Бабошин?

Он с группой разведчиков во вражеском тылу собрал много очень ценных для нас сведений, разведчики уже возвращались, когда их сначала заметили, а потом и окружили фашисты.

Надежды на то, что удастся своими силами прорвать кольцо вражеского окружения, у разведчиков не было. И тогда лейтенант Бабошин вылез на крышу дома, встал там во весь рост и двумя бескозырками просемафорил нам все добытые разведкой сведения.

Фашисты по нему строчили из автоматов, стреляли из винтовок и пулеметов. Он был ранен, истекал кровью, но не опустил рук, пока не закончил передачу.

Потом — упал. Разведчики как могли и умели перебинтовали его, положили в укромное место и весь день отбивали атаки врага.

Только ночью им удалось выскользнуть из вражеского кольца и вынести с собой отважного лейтенанта Бабошина, жизнь в котором еле теплилась.

Или взять вот такой эпизод — рядовой эпизод Сталинградской битвы.

По Волге уже густо шло «сало», когда один из бронекатеров был направлен к правому берегу, чтобы оттуда корректировать огонь наших канонерских лодок. Сначала все складывалось хорошо, и вдруг луч вражеского прожектора сцапал катер. Только сцапал — немедленно по катеру прицельно ударили многие артиллерийские и минометные батареи. И один из снарядов сразу же попал в рубку. Появились и раненые, и даже убитые.

Осколками снаряда оказался перебит и штуртрос. Катер стал неуправляем, и течение выбросило его на песчаную отмель.

Мишенью стал неподвижный катер. Вода кипела вокруг него от падающих снарядов и мин. Ни у кого не

было сомнения, что катеру жить осталось считанные минуты. И тогда маленький фанерный полуглиссер бросился к бронекатеру. Невредимым четыре раза входил в огненную завесу и выходил из нее. И вывез на левый берег всю команду бронекатера, кроме одного человека — радиста Ивана Решетняка.

Иван Решетняк добровольно остался на катере, превратившемся в мишень, остался для того, чтобы корректировать огонь вражеских батарей.

В лучах прожекторов бронекатер был прекрасно виден, и фашисты били по нему, били. Иногда им, похоже, начинало казаться, что с катером наконец-то покончено, что там нет больше ни одного живого человека. И тогда замолкали их пушки и пулеметы.

Переставали вражеские снаряды и мины вспенивать взрывами воду вокруг бронекатера — немедленно, дразня врагов, несколько раз приподнималась и опускалась крышка одного из люков. И снова вражеские снаряды и мины устремились к истерзанному катеру!

Всю ночь фашисты вели огонь по бронекатеру, и всю ночь старшина 2-й статьи Решетняк засекал вражеские огневые точки и нацеливал на них снаряды канонерских лодок.

За ту ночь одиннадцать огневых точек врага уничтожили снаряды канонерских лодок!

А потом снова был день. Фашисты и вовсе словно взбесились при виде нашего военно-морского флага, трепетавшего на ветру над бронекатером. Теперь над ним повисли и «юнкеры».

Только с наступлением полной темноты нам удалось снять Ивана Решетняка с его наблюдательного пункта. Промерзший — дальше некуда, он сразу же прошел в машинное отделение, почти обнял дышащий жаром мотор и сказал, радостно улыбаясь:

— Братцы, а я, кажется, промок.

Он еще мог шутить!

Много подобных эпизодов сохранила моя память.

Заканчивая эту главу, я просто обязан хотя бы упомянуть об одном документе, сыгравшем огромную роль в еще большем укреплении боевой мощи наших Вооруженных Сил.

В октябре 1942 года вышел Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР «Об установлении полного единоначалия и упразднения института военных комиссаров в Красной Армии» и приказ наркома Оборона СССР по тому же вопросу.

Вообще-то, насколько я знаю из бесед, некоторые политработники уже в августе жили предчувствием больших перемен в своей работе. И это вполне понятно: каждый из них прекрасно понимал, что почти за полтора года войны в нашей армии произошли значительные изменения, что в минувших боях выросли и закалились командные кадры, которые, до конца верные своему воинскому долгу и командирской чести, были способны единолично успешно решать боевые задачи и управлять войсками.

Да и политработники наши за время боев повысили свои военные знания, приобрели боевой опыт. Некоторые из них были даже уже переведены на командные должности и успешно справлялись со своими новыми обязанностями.

Это многие из нас понимали, и все равно Указ о введении единоначалия породил порядочно раздумий. Некоторым строевым командирам казалось странным все это, мы все время пытались и не могли решить один вопрос: как же теперь жить и воевать без комиссаров?

И этот вопрос, как мне кажется, был до известной степени закономерен: мы уже привыкли к тому, что политработники пользовались одинаковыми с нами — командирами — правами, а тут они вдруг становятся только нашими заместителями!

В Указе говорилось: «...Новые обстоятельства, связанные с ростом наших командных и политических кадров, свидетельствуют о том, что полностью отпала почва для существования системы военных комиссаров».

В соответствии с этим Указом народный комиссар Оборона СССР приказал: «...Освободить от занимаемых должностей комиссаров частей, соединений, штабов..., а также политруков подразделений и назначить их заместителями соответствующих командиров (начальников) по политической части».

Предусматривалось и присвоение политработникам командирских званий; предполагалось политработников, подготовленных в военном отношении, более решительно выдвигать на командные должности, особенно в звене командир роты — командир батальона.

На первый взгляд, ввести единоначалие некоторым из нас казалось не так уж сложно: люди на месте, только остается одного из них назначить командиром, а второму присвоить звание строевика, чего же больше? Но в действительности это было далеко не так: этим Указом, по существу, открылась новая страница в истории наших Вооруженных Сил, проводились мероприятия, призванные сыграть огромную роль в дальнейшем повышении боевой мощи наших войск.

Облекая нас, командиров, всей полнотой власти, возлагая на нас полную ответственность за все стороны боевой и политической жизни войск, Советское правительство и ЦК Коммунистической партии открывали перед нами еще более широкие возможности для образцового выполнения долга перед Родиной, для проявления организаторского таланта, умения и опыта в интересах достижений главной цели — победы над германским фашизмом.

Меры по введению полного единоначалия в Советской Армии были направлены и на дальнейший подъем политической работы в войсках, на воспитание у бойцов и командиров непоколебимой веры в правоту своего дела. Ведь заместители командиров по политической части в условиях полного единоначалия получали гораздо больше возможностей для того, чтобы непрерывно повышать уровень и действенность партийно-политической работы; теперь они могли все свое внимание сосредоточить на воспитании личного состава. Кроме того, присвоение политработникам командирских званий повышало их роль в армии. Однако это, в свою очередь, требовало, чтобы каждый политработник настойчиво овладевал военными знаниями, непрерывно совершенствовал их, по-настоящему стремился стать мастером военного дела, готовым в любую секунду, если потребуется, занять командную должность.

Повторяю, Указ об установлении полного единоначалия абсолютным большинством командиров, политработников и солдат был воспринят как документ огромной важности, как вполне своевременная мера, направленная на дальнейшее усиление боевой мощи наших войск.

И все же в первые после опубликования Указа дни мне встречались даже отдельные политработники, которые высказывали опасения, что, дескать, с введением единоначалия партийно-политической работе будет уде-

латься меньше внимания, чем прежде. Они ссылались на то, что не все мы, командиры, являемся коммунистами, а беспартийному командиру, дескать, не с руки вмешиваться в дела партийных и комсомольских организаций, ставить перед ними задачи, направлять работу политсостава. Некоторые товарищи даже поговаривали о том, что введенные единоначалия принизит роль партийно-политического аппарата.

В свою очередь и некоторые из нас, строевых командиров, говорили, что, дескать, мы вряд ли сможем, став единоначальниками, обеспечить необходимое руководство партийно-политической работой.

Как видите, даже этот вроде бы и предельно понятный Указ потребовал огромной и кропотливой разъяснительной работы.

Все последующие годы доказали своевременность и правильность этого Указа. Лишь с одним мы не смогли примириться: что исчезло из обихода столь полюбившееся нам слово — «комиссар». И до последнего дня войны мои матросы, говоря о хорошем политработнике, неизменно величали его:

— Товарищ комиссар.

КОНЕЦ МИННОЙ ВОЙНЫ НА ВОЛГЕ

В ноябре 1942 года, теснимые «салом», наши катера из-под Сталинграда ушли на зимовку в район Астрахани. Встретили нас там очень радушно, охотно отдавали все, чтобы мы могли поскорее подготовиться к новой навигации. Казалось бы — самое время с головой уйти в ремонтные работы и вопросы боевой подготовки, но многие матросы вдруг словно белены объелись, они завалили нас рапортами с одной просьбой: списать в морскую пехоту, которая, как писал почти каждый, «в настоящий момент бьется насмерть с фашистюгами...»

С подобным рапортом пришел ко мне и главный старшина Мараговский, за мужество, проявленное во время Сталинградской битвы, награжденный орденом Красного Знамени.

Большого труда нам, командирам и политработникам, стоило сначала ослабить, а потом и вовсе оборвать этот поток рапортов. Причем с каждым матросом приходилось разговаривать в отдельности и по-разному. И если Мараговского, с которым у нас к тому времени сложи-

лись по-настоящему дружеские отношения, я просто отругал, изорвав его рапорт, то кое перед кем пришлось и мелким бисером рассыпаться, уговаривать, умолять. Но так или иначе, а порядок был восстановлен, и мы начали деятельно готовить катера к будущей навигации: капитально заделывать пробоины, ремонтировать моторы, лебедки и прочую технику, и самое приятное — вооружались, вооружались.

Вся Отдельная бригада траления готовилась к грядущим боям, лишь я, ее флагманский минер, в декабре исчез из штаба: в это время мы — старшины 1-й статьи Ю. Тимофеев и С. Цильмановский и я — в санях-розвальнях мотались по Волге на участке от Светлого Яра до Петропавловки; мы контр-взрывами пытались уничтожить отдельные вражеские мины, те самые, место постановки которых нам было известно наиболее точно.

Работа эта была трудная и очень однообразная, даже нудная. Изю дня в день мы вставали еще до рассвета, запрягали своего Сивку и трогались в путь. Метель ли, мороз ли с режущим встречным ветром — мы неизменно начинали движение, чтобы в нужном месте остановиться и долбить почти метровый лед — делали проруби. Потом в них бросали малые глубинные бомбы и улепетывали на безопасное расстояние, где и ожидали взрывов.

Так было изю дня в день.

И только трижды (почти за полтора месяца работы) одновременно со взрывами малых глубинных бомб вздымались к низкому небу огромные столбы воды — детонировали вражеские мины или большие бомбы, еще летом упавшие в реку.

Да, утомительной для нас была эта поездка по скованной льдом Волге. Может быть, и потому, что наш Сивка — хоть оглоблю о него измочаль — весь день принципиально ходил шагом; лишь к месту ночлега (и как он узнавал, что мы сегодня закончили работу?) он несся почти галопом.

Зато мы познакомились со многими бакенщиками (даже побывали у них в гостях) и прониклись к ним подлинным уважением.

Дело в том, что еще летом у многих бакенщиков вражеские самолеты уничтожили домики, которые были так привлекательны, когда мы смотрели на них с палубы катера. Не стало домиков — бакенщики не испугались, не убежали от опасности, а тут же, на пепелищах, вырыли

ямы-землянки, где теперь и жили со своими семьями. Было голодно, невероятно тесно, темно и душно в этих наспех вырытых склепах. Да и блохи основательно доминировали. В одной из таких землянок мы, например, проснулись среди ночи и сбежали на мороз, хотя от усталости еле шевелили руками и ногами. Молча ехали звездной ночью по льду Волги и почти через каждый километр останавливались, чтобы раздеться и попытаться вытрясти блох из белья на снег.

Но бакенщики и их семьи не унывали, не просто отсиживались в ямах-землянках до лучшей поры, а готовились к навигации. Они истово верили, что и летом 1943 года — как бы ни бесновались фашисты, сколько бы мин ни поставили, Волга будет судоходной рекой. Об этом свидетельствовали новые минные бакены, стоявшие на береговой кромке почти около каждого жилища бакенщика, и многое другое.

Повезло мне в тот период и в том, что по-настоящему узнал капитана 3-го ранга К., за которым на флотилии укрепилась слава запойного пьяницы. Поговорил с ним откровенно несколько раз, и вдруг в ином свете увидел и его самого, и его «пьяные чудачества». Во-первых, почему же, если он запойный пьяница, я ни разу не видел его даже в крепком подпитии? Во-вторых... Ох и умный, ох и хитрый был мужик!

В годах и много повидавший в жизни, он считал, что иногда, чтобы добиться желаемого результата, нужно хитрить, «изобретать». Вот он и «изобрел» свои «запой»; ведь известно, что к пьяным мы порой бываем несколько снисходительны, дескать, что с него, дурака, сейчас возьмешь? Вот проспится, протрезвится — тогда и взыщем с него за все.

К. умело использовал это наше общее настроение. Так, «напившись пьяным», он побил фонари бакенов на своем участке. Из пулемета побил. И на ночь Волга здесь утонула в темноте.

Начальство конечно, разгневалось, грозило потом, когда К. протрезвится, отдать его под трибунал. Но К. «пьянствовал» почти неделю! И все это время на его участке не горел ни один обстановочный знак.

Начальство хотя и крепко гневало, но не настолько, чтобы ничего не видеть. И оно заметило, что на участке К. с того момента, когда он «пьяный» побил фонари, ни одной мины фашисты не поставили на судовой ход.

Почему? Не потому ли, что нет ориентиров, указывающих фарватер?

— А ну погасить на ночь все огни! — приказало начальство.

И погасили. И убедились, что так и должны были поступить давно.

С К., конечно, взыскали стоимость разбитых фонарей, но он не унывал, немного погодя опять, «будучи пьяным», «начудил». И опять его «чужачество» пошло на общую пользу.

Помню, во время одной из интимных бесед я даже спросил у него, почему он шел на такой риск, когда можно было действовать по уставу? Он с хитринкой посмотрел на меня и ответил:

— До этого не додумался.

Но я-то и сам понял его затаенное: он ошибочно считал, что пока бы он писал командованию, пока бы там изучали его писульку, согласовывали и решали, сколько бы воды утекло? А тут несколько дней личного риска — и все готово!

Несколько позднее мне пришлось познакомиться и с другим типом человека. Тогда я был уже комдивом, а он у меня — начальником штаба, знающим свое дело и аккуратистом в работе.

Казалось бы, чего же лучше?

Но вот я на задании, и примерно километрах в ста от штаба, где остался он — мой первый боевой заместитель. Вдруг ко мне подбегает матрос и протягивает радиограмму, где написано: «Меня атакуют пять Ю-87 жду ваших указаний».

Я — взбешен: какой же ты командир, если задаешь мне такие вопросы?!

Еще больше я возмутился, когда, вернувшись на свою базу, узнал, что начальник штаба и без меня приказал открыть огонь по вражеским самолетам, что командовал он абсолютно правильно. Зачем же он, спрашивается, послал мне ту радиограмму? Только для того, чтобы подшить ее к делу как документ, подтверждающий правильность его действий?

Я при первой возможности, разумеется, избавился от такого начальника штаба.

Нет, я не одобрял и не одобряю «стиля работы» К. Но от К. я, пожалуй, не стал бы избавляться; мне и

сейчас симпатичны люди, которые сами готовы отвечать за свои поступки и дела.

Ездили мы по Волге в санях-розвальнях, ездили, и лишь однажды на какое-то время, повинаясь приказу командования, я вынужден был оставить Сивку на попечение своих помощников, а сам выехать в Сталинград. И получилось так, что я стал свидетелем последних дней Сталинградской битвы. А потом, когда смолкли орудия, шел по разрушенному городу и сжимал автомат, глядя на пленных немцев, заполнивших улицы; теперь гитлеровские вояки были смирны, покорны и даже жалки.

Когда увидел первую, казалось, бесконечную колонну пленных, долго не мог понять, вернее, уловить того, что больше всего поразило меня.

Может, женские головные платки, которыми они обвязывались поверх пилоток и касок? Может, ноги в соломённых эрзац-валенках?

Нет, все это я уже видел в прошлом году, под Москвой.

Тогда что же?

И лишь позднее, когда глаза мои стали уже равнодушно скользить по серым, будто донельзя грязным колоннам-толпам пленных, я вдруг понял главное: в глазах у них не было ничего, кроме безмерной усталости; они, эти пленные, даже радовались, что — наконец-то! — попали в плен, где им гарантирована жизнь.

Эти колонны, в каждой из которых была не одна тысяча человек, конвоировало всего несколько усачей довольно-таки преклонного возраста.

Не о победе и не о продолжении войны тогда мечтали эти пленные. Их тогдашнее общее настроение, как мне кажется, наиболее точно передает вот это письмо одного из них, адресованное домой:

«...Отец, — ты полковник, генштабист. Ты знаешь, как обстоят дела, и я не нуждаюсь в сентиментальных объяснениях. Пришел конец. Мы продержимся еще дней восемь. Затем — крышка. Отец, эта преисподняя должна быть предупреждением для всех вас. Я прошу тебя, не забывай о ней...»

А теперь о делах. Во всей дивизии боеспособны лишь шестьдесят девять человек... Все идет к концу...»

В том, что так называемый «средний немец» к этому моменту уже стал о многом задумываться, говорит и такой случай.

В конце февраля 1943 года для работы с трофейной техникой мне было разрешено взять из лагеря двух пленных. Выбирал я их сам, предварительно просмотрев множество солдатских книжек. Причем тогда на мне был белый маскировочный халат с капюшоном, прятавший мою форму военного моряка.

Кроме того, к тому времени война уже научила меня многому, и я даже виду не подавал, что понимаю, о чем между собой говорят вражеские солдаты (прикидываясь пезнайкой, иной раз доводилось услышать много любопытного, чего они вряд ли высказали бы на допросе). В этот раз, например, я узнал, что вездеход, на ремонт которого пленные запросили почти двое суток, может быть готов уже завтра к утру, что один из выбранных мной пленных немцев еще недавно был шофером облюбованного нами вездехода и сам спрятал те части, без которых машина мертва.

Молча выслушав все это, я увез того шофера в Сталинград, где он и извлек из развалин спрятанные части двигателя.

Доставив шофера обратно в лагерь к вездеходу, я сказал, что буду здесь снова завтра утром и чтобы машина к этому времени была полностью готова. Немцы всем этим были настолько ошарашены, что какое-то время только глазами хлопали, но зато как забегали потом, когда оцепенение прошло!

На следующий день утром (теперь уже в сопровождении матросов своего отряда) я вновь появился в лагере. И что меня сразу и больше всего поразило — оба немца, которым предстояло отправиться со мной, стояли по стойке «смирно» и... беззвучно плакали.

Тогда я очень торопился, мне была дорога каждая минута, поэтому и не поинтересовался, почему они плачут. Просто жестом приказал им садиться в машину, а еще через несколько минут вездеход, вздыбливая снег, унесся в бескрайнюю степь.

Несколько часов мы летели по заснеженной степи. Было так холодно, что замерз даже я, хотя сидел в кабине вездехода и был одет тепло. Невольно подумалось: каково же моим матросам, сидевшим в открытом кузове?

Остановились в первой деревне, замаячившей на горизонте. Всем отрядом ввалились в хату, где через несколько минут пошла по кругу вместительная кружка с водкой. Не миновала она и немцев, которые робко жались к порогу. Вот тогда я и услышал обрывок из разговора.

— «Черная смерть», а шнапса и хлеба дали, — прошептал один.

— Значит, сегодня убивать не будут, — тоже шепотом ответил второй.

Так вот почему они беззвучно плакали, когда увидели меня и моих матросов!

Почти месяц я имел возможность наблюдать за этими немцами, разговаривать с ними о самом разном. И я узнал, что оба они по своим убеждениям были самые обыкновенные так называемые «средние немцы», над мозгами которых длительное время и основательно потрудились фашистская пропаганда.

Не буду описывать всех изменений в психологии этих немцев, которые произошли за время нашего знакомства, расскажу лишь один эпизод.

Случилось так, что на этом же вездеходе возвращались лишь мы трое: два немца и я — капитан-лейтенант, за предшествующие дни измотавшийся — дальше некуда.

Осколок ударил в мотор вездехода в тот момент, когда мы были на «ничьей» земле метрах в пятистах от вражеских окопов. На наше счастье, уже основательно стемнело, и фашисты не заметили, что наша машина сразу же остановилась. Мы мигом выбросились из нее и откатились в сторону, чтобы быть подальше от вездехода-мишени.

Прошло еще несколько минут — мне стало страшно: до вражеских окопов рукой подать, а со мной два немца. Правда, без оружия, но все же двое...

И все равно я был настолько обессилен, что, случайно натолкнувшись на развалины какого-то блиндажа, сразу же нырнул туда, где сон сравнительно легко и поборол меня.

Побороть-то поборол, но я все время просыпался от холода и мысли о том, что рядом со мной два немца, которые в любую минуту могут броситься на меня.

Кому-то может показаться невероятным, что, понимая всю опасность своего положения, я все же спал. Что ж, на войне бывало и такое. Например, в 1942 году

однажды я уснул в кабинете адмирала Рогачева, куда был вызван для доклада. Вошел в кабинет бодро, от- рапортовал как положено, а стоило адмиралу разрешить мне сесть — я немедленно уснул, да так крепко, что проснулся от собственного храпа.

Нечто подобное произошло со мной и тогда, в степи, когда рядом и вокруг были только, как мне казалось, одни враги.

Проснулся я внезапно и от ощущения тепла. Первым делом схватился за оружие. Оно оказалось при мне. Потом обшарил весь блиндаж, но немцев тут не оказалось. Сбежали? Тогда почему же своими шинелями они укрыли меня? Чтобы крепче спал?

Нет, они не сбежали. Они всю ночь ремонтировали мотор вездехода. И ведь отремонтировали!

Мне кажется, этот случай — свидетельство того, что в сознании немецких солдат за время Сталинградской битвы произошел значительный перелом.

Когда я вернулся в Астрахань, здесь, казалось, все было уже готово к навигации, к возобновлению траления. И действительно, 6 апреля, едва Волга очистилась ото льда, я на катерах-тральщиках ушел в район Солодников, где еще в прошлом году река была буквально нашпигована минами; матросы даже зубоскалили, дескать, вот если бы нам на обед такую густую похлебку давали!

Минная война сразу же возобновилась с такой яростью, словно в ней и не было перерыва длиной почти в шесть месяцев: и вражеские самолеты-бомбардировщики опять каждую ночь стали нападать на караваны, и самолеты-миноносцы втихую ставить мины. И если за всю навигацию 1942 года нами была замечена поставка 350 вражеских мин, то голько за май 1943 года мы насчитали 364 мины, то есть больше, чем за весь прошлый год.

И все-таки за апрель и май мы благополучно провели по Волге столько караванов, что они доставили в центральные районы России более двух миллионов тонн нефтепродуктов!

А если сюда приплюсовать и другие грузы?

Как видите, интенсивность минной войны на Волге в 1943 году возросла, но теперь враг добился значи-

тельно меньших успехов, чем в прошлом году. Причин этому несколько. В том числе и то, что теперь на вооружении мы имели уже новейшие по тому времени тралы, а главное — то новое, что начало свершаться на Волге после посещения ее наркомом Военно-Морского Флота адмиралом Н. Г. Кузнецовым (было это в начале мая 1943 года).

Не знаю, о чем он говорил с новым командующим флотилией контр-адмиралом Ю. А. Пантелеевым и другими столь же высокими должностными лицами, но сразу же после его отъезда у нас вместо Отдельной было создано две бригады траления, командирами которых соответственно стали капитан 1-го ранга П. А. Смирнов и капитан 2-го ранга В. А. Кринов.

Но дело, конечно, не в том, что появилась вторая бригада траления. Принципиально новым было то, что теперь всю Волгу от Саратова до Астрахани поделили между этими двумя бригадами, поделили на два БОЕВЫХ РАЙОНА, где вся полнота военной власти сосредоточивалась в руках штаба той или иной бригады траления. А это означило, что теперь командиру бригады траления подчинялись не только его катера-тральщики, но и все прочие корабли и пароходы, оказавшиеся на территории его БОЕВОГО РАЙОНА; теперь в его оперативное подчинение перешли и армейские части ПВО, базировавшиеся на берегах Волги; в штабе каждой из этих бригад траления теперь появился представитель Наркомата речного флота, который, если возникала в этом необходимость, дублировал приказание командира бригады траления, дублировал от имени своего наркома.

Такое единоначалие было крайне необходимо в обстановке, которая сложилась на Волге весной 1943 года.

По той же схеме (но, разумеется, в меньших масштабах) строились и БОЕВЫЕ УЧАСТКИ, полноправными хозяевами которых являлись командиры дивизионов катеров-тральщиков.

До мая я занимался тралением в основном в районе Шишкинских и Солодниковских перекатов, где тогда было особенно тяжело: и фарватер сжат и изломан минными бакенами, да и немцы каждую ночь появлялись здесь, чтобы подновить ту или иную минную банку или бомбежкой помешать нашей работе.

Этот период (с 6 апреля до первых чисел мая) был, пожалуй, самым тяжелым для меня лично. Дело в том,

что пока я зимой, повинуюсь приказу, мотался по замерзшей Волге, меня сняли с должности флагманского минера Отдельной бригады траления. Теперь я снова был дивизионным минером, как и в первые месяцы прошлой навигации. Откровенно говоря, я тяготился должностью флагманского минера, но назначение дивизионным минером все же больно ударило по самолюбию, тем более, что вины за собой не чувствовал.

Так что я был даже рад, что оказался именно в этом минном пекле — на Солодниковских и Шишкинских перекатах; здесь почти не оставалось времени для грустных размышлений о бренности всего земного.

Из того периода деятельности особенно запомнились четыре случая: траление у Яра Насоныча, гибель нефтеналивной баржи «Комсомолка», приказ наркома Военно-Морского Флота, оповестивший весь флот о том, что я страшный разгильдяй, и ночной поход на полуглиссере с контр-адмиралом Н. И. Шибяевым.

Я с тремя катерами-тральщиками бежал мимо Яра Насоныча, когда сигнальщик доложил, что видит на берегу людей, которые призывно машут руками.

Должен сказать, что к этому времени помощь населения для нас стала делом привычным, и мы подошли к зовущим. Они оказались рыбаками и сказали, что сегодня ночью, когда они на этом плесе тянули сети, вражеские самолеты сбросили в Волгу на парашютах шесть или семь каких-то «штуковин».

К сожалению, не всегда подобные сообщения «внештатных наблюдателей» оказывались достоверными, кое-кто из них за «штуковины» принимал даже куски яра, рухнувшие в воду по той или иной причине. Но здесь (по словам рыбаков) таинственное что-то упало у лугового берега, то есть вдали от яра, и поэтому, обозначив минными бакенами новый фарватер и сообщив в штаб бригады о случившемся, я вывел свои катера-тральщики на первый боевой галс.

Не знаю, как для других, а для меня почему-то особенно волнителен всегда был первый галс на каждом новом минном поле; вроде бы и все до мелочей знаешь, а все равно волнуешься.

Это потом (причем очень скоро) все станет на свои места, это потом, чуть позднее, ты будешь беззаботно зубоскалить с матросами, утюжа минное поле. А в самом начале...

Между прочим, однажды со мной на катере-тральщике шел некий подполковник, который имел очень приблизительное представление о нашей работе. Помнится, мы с ним партии две или три сыграли в шахматы, с аппетитом позавтракали и расположились на надстройке кубрика, беседуя о разных разностях.

И тут подполковник пренебрежительно отозвался о нашей работе, дескать, не война это, а разлюли-малина. Обиженный до глубины души, я выложил ему все то, о чем мы избегали говорить — о том, что останется от катера-тральщика, если мина взорвется под ним или рядом.

К несчастью, пренебрежительный отзыв подполковника о нашей работе слышали все, кто был в рубке и на палубе. Теперь они поспешили мне на помощь, дополнили мой рассказ такими подробностями, что подполковник вдруг сразу вспомнил, что ему обязательно нужно по пути в Сталинград заглянуть в одну деревню. Мы для приличия поугovarивали его идти с нами, так как этот наш переход почти безопасен: только вчера здесь взорвался катер-тральщик, а что по этому поводу гласит теория вероятностей?

Подполковник ответил, что он очень рад знакомству с нами, с удовольствием продолжил бы его, но...

И мы, поломавшись немного (и будто с большой неохотой), умышленно высадили его — каюсь — в самом безлюдном месте. Чтобы он ножками основательно поработал.

Так вот, не успел я, начав траление, еще приобрести обычного спокойствия, как наш катер словно вознамерился встать на дыбы, и мои ноги восприняли тугой гидравлический удар.

«Есть первая!» — подумал я, оглянулся и увидел огромный столб воды, который, постояв мгновение, рухнул, вспенив Волгу.

Скоро к нам подошли катера-тральщики, которыми командовал старший лейтенант А. Румянцев, и к ночи все вражеские мины были нами вытралены.

На моей памяти это единственный случай, когда полная победа далась нам так сравнительно быстро (в течение одного дня) и легко.

А нефтеналивная баржа «Комсомолка», когда под ней рванула вражеская мина, сразу выплеснула в Волгу бушующий огненный поток. И было просто невероятно

видеть, что его смогла пересечь лодка-завозня, в которой, тесно прижавшись друг к другу, сидели шкипер баржи и две или три женщины с детьми.

Мы подхватили их почти на кромке уже чистой воды, увели в кубрик и какое-то время избегали говорить о случившемся. Потом я все же спросил:

— Куда теперь направитесь?

— Как куда? — удивился шкипер. — Обратно в Астрахань. Или, думаешь, нам теперь не доверят другой нефтянки?

Этот бесхитростный ответ простого речника, согласное молчание женщин, все еще прижимавших к себе притихших детей, и открыли нам полностью душевный настрой речников...

Приказ же наркома о моем разгильдяйстве был неожиданен настолько, что я сначала просто растерялся, а потом разозлился до глупого упрямства.

В приказе говорилось, что я утопил трал. И даже называлось место, где это будто бы произошло.

Но трала я не топил. Больше того, к тому месту, где случилось несчастье, ближе чем на триста километров не подходил.

А разве вам, читатели, не было бы обидно, окажись вы на моем месте?

Матросы советовали мне обжаловать приказ, были готовы сами пойти по команде, но я категорически запретил: на военной службе только того и не хватало, чтобы рядовые за командира заступались.

Но приказ наркома больно хлестнул не только по моему самолюбию, но и по карману (мне было приказано возместить стоимость трала).

Самое обидное — за чужую вину я был наказан!

Как раз в тот момент, когда в моей душе царило полное смятение, порожденное такой вопиющей несправедливостью начальства, на Волгу и прибыл контр-адмирал Шибаев, заглянул и в наш дивизион, только о сегодняшней работе и поговорил со мной — опальным минером.

А потом, глубокой ночью, когда темень стала и вовсе непроглядной, он вдруг изъявил желание побывать на таком-то посту службы наблюдения и связи, чтобы проверить работу личного состава.

Тогда уже оба берега Волги были покрыты постами СНИС, которые и вели наблюдение за всеми боевыми

действиями врага, обо всем замеченном и докладывали в соответствующие штабы.

Что ж, адмирал высказал желание — нужно было выполнить его как приказ. Конечно, и старшина полуглиссера мог с успехом доставить адмирала на пост, но обиженная молодость бурлила во мне, и я сам сел за руль полуглиссера.

Напомню, что это было время весеннего половодья, когда Волга свободно гуляла по заливным лугам, когда некоторые прибрежные рощицы полностью стояли в воде. Вот и показалось адмиралу, что я не вижу ни одного ориентира, веду катер наугад. Поэтому он был донельзя удивлен, когда наш полуглиссер вдруг ткнулся носом в берег, где сейчас же появился матрос и доложил, что он старшина такого-то поста.

Видимо, контр-адмирал все же не совсем поверил и мне, и старшине поста: пожелал обязательно сам воспользоваться телефонной связью. И поговорил по телефону с начальником района СНИС, довольно пристрастно выспросил у него все приметы людей, несущих службу на этом посту.

Зато на обратном пути он не пытался мне что-то подсказывать, а в заключение похода и поблагодарил за то, что мы так хорошо ориентируемся ночью, когда на реке нет ни одного огонька.

Я торжествовал: значит, опальный минер Селянкин хоть в командиры полуглиссера, но вполне годен!

Здесь, как мне кажется, самое время хотя бы кратко познакомить вас хоть с одним человеком из тех, кто нес службу на этих постах СНИС.

Наиболее типичным для того времени был пост из двух человек, которые изо дня в день (в течение долгих месяцев) несли здесь круглосуточную вахту.

Сам пост — землянка, от которой к окопчику, оборудованному в удобном для наблюдения за рекой месте, вел вырытый матросами ход сообщения.

В землянке — два лежака, две табуретки (или ящичка, чурбака) и столик, около которого были телефон и обязательно пирамида на две винтовки.

На одном из таких постов СНИС и был командиром старшина 2-й статьи Антон Струк.

Однажды ночью низовой ветер развел довольно приличную волну. Было ветрено, холодно, но Струк терпеливо сидел в окопчике, вел наблюдение.

Он видел и пассажирский пароход, который шел вниз по течению. И тут из-за туч вывалился фашистский самолет, сбросил три мины; две взорвались позади парохода, а третья легла у него по курсу.

Постановку мин заметили и на пароходе, вильнули в сторону, чтобы обойти опасное место.

Антон Струк, запеленговав мину, разбудил напарника, передал вахту ему, а сам на лодке, хотя волны и были порядочными, вышел на плес и поставил минный бакен точно там, где упала мина.

Только вернулся на пост, глянул на реку — сразу увидел, что его минный бакен сорван волной, что он спокойно плывет вниз по течению навстречу каравану из буксирного парохода и двух нефтеналивных барж, сидевших в воде почти по палубу.

И, чтобы предотвратить беду, Струк снова сел в лодку и погрузил в нее новый минный бакен. Только отошел от берега, понял, что не успеет поставить бакен, что караван окажется над миной раньше, чем он. Тогда стал махать каравану, стал показывать, что пароходу нужно держаться за лодкой.

Его поняли, буксирный пароход сбавил ход и пошел за лодкой, как за лодманом.

Да, волна была попутной, она в какой-то степени помогала Антону идти против течения. Однако согласитесь, это вовсе нелегкое дело — грести на лодке перед носом буксира.

И только проводив караван до чистой воды, Струк вернулся и поставил минный бакен.

Не менее важной для личного состава постов СНИС была и агитационная работа среди местного населения, разъяснение ему тактики врага и наших задач. Должен сказать, что и с этой частью своей работы личный состав постов СНИС справлялся успешно. Мне, например, никогда не забыть такой случай.

Самая обыкновенная колхозница (и притом в годах) Анна Тихоновна Половникова полоскала белье, когда фашистский самолет что-то сбросил в реку.

Анна Тихоновна, помня, что нужно обязательно указать матросам точку падения мины, неотрывно глядела на то место, куда упало это «что-то». И про белье забыла, все глядела на воду.

Необычность поведения пожилой женщины привлекла внимание матроса с катера-тральщика Николая Ла-

дыгина. Он подошел к ней, и между ними состоялся такой разговор:

— Что, поясница болит, мамаша? — спросил Ладыгин.

— Да нет, немец что-то в реку бросил, — ответила Анна Тихоновна.

— А куда? — насторожился матрос.

— Туда и гляжу.

Николай Ладыгин, больше не медля ни минуты, разделся, вошел в реку и стал нырять, подчиняясь сигналам пожилой колхозницы.

Так долго нырял, что почти обессилел, а на дне реки ничего подозрительного не мог обнаружить.

И тогда, взяв поправку на сильное течение, он нырнул еще раз.

А когда вынырнул, стал изо всех сил удерживаться на месте и командовать Анне Тихоновне, куда ставить пустую корзину из-под белья, куда передвинуть само белье: он створил мину.

Когда створы, закрепляющие место мины, были готовы, Ладыгин побежал на ближайший пост, откуда и сообщил в штаб о случившемся. Катер-тральщик пришел скоро, а еще немного погодя эта фашистская мина была взорвана.

Теперь, надеюсь, понятно, что давало нам хорошо поставленное наблюдение за минами? Поэтому контр-адмирал Шибаев и не поленился поехать на какой-то рядовой пост СНИС.

Уехал контр-адмирал Шибаев, и еще через несколько дней я получил приказ о назначении меня флагманским минером во 2-ю бригаду траления, которой командовал капитан 2-го ранга Кринов.

Для меня это была явная возможность реабилитировать себя, кто-то другой, скорее всего, ухватился бы за нее, а я окончательно взбеленился (наверное, Кринов пожалел меня?) и в Камышин, где тогда находился штаб 2-й бригады траления, выехал только подчиняясь дисциплине.

Напомню, что Кринова я уважал с первых дней совместной службы на Волге, даже мечтал во многом походить на него.

Приехав в Камышин, явился к Кринову и сразу же высказал ему все, что так долго копилось на душе. Не забыл упомянуть и о том, что назначение флагманским

минером воспринимаю как подачку, как палочку-выручалочку, которую он протянул мне.

Всеволод Александрович, как и следовало ожидать, внешне спокойно выслушал меня, вроде бы несколько не рассердился, не обиделся. Только как-то многозначительно сказал:

— Надеюсь, вы не забудете представиться вашему непосредственному начальнику — капитану 3-го ранга Комарову?

Командир бригады капитан 2-го ранга Кринов, начальник политотдела капитан 2-го ранга С. Д. Бережной и начальник штаба бригады капитан 3-го ранга А. А. Комаров, которых мы все, штабные специалисты, в своем кругу любовно называли «наша тройка», как нельзя лучше подходили друг к другу. Властные, волевые, но спокойные и справедливые, они прекрасно умели заставлять нас работать охотно и с полной отдачей всех сил.

Мы все искренне сожалели, когда Сергея Денисовича Бережного забрали от нас в политотдел флотилии.

Какое-то время я, хотя службу нес вроде бы исправно, все же был недоволен своим назначением, считал себя обиженным уже потому, что в мою судьбу вмешался человек, которым, как я считал, руководила жалость ко мне. Тогда я, конечно, не мог знать, что Всеволод Александрович действительно разговаривал обо мне с наркомом, высказал ему всю правду о случае со злополучным для меня тралом (об этом я узнал лишь через двадцать пять лет после окончания войны, когда Всеволод Александрович вдруг разоткровенничался). Я тогда только недоумевал, почему из моей зарплаты не сделали ни одного вычета за трал, хотя в приказе наркома об этом говорилось.

Но скоро я опять стал самим собой. И огромную роль в этом сыграла та деловая атмосфера, которая царила в штабе бригады. Больше всего нравилось то, что здесь все до определенного момента носило характер коллективного решения, что здесь командование бригады всегда было готово выслушать любое предположение от любого человека, обсудить его всесторонне и лишь после этого облечь в форму боевого приказа. Так, вскоре после того, как я стал флагманским минером этой бригады, Кринов вызвал меня к себе ночью. В душе чертыхаясь (день выдался исключительно напряженным, и я

только задремал), явился к нему в салон, где в это время уже сидели Бережной, Комаров и еще несколько человек. Оказалось, что обстановочный старшина (фамилии его не помню) предложил сейчас, в половодье, водить караваны не по основному фарватеру, а по вспомогательным, разметив их над заливными песками и по воложкам, которые в межень станут несудоходными.

Обстановочный старшина, внося это предложение, преследовал одну цель: направив караваны по вспомогательным фарватерам, он хотел только увеличить их эксплуатационную скорость, так сказать, сократить время нахождения грузов в пути.

Предложение было дельное, казалось бы, зачем его обсуждать? Но «наша тройка» знала, чего хотела, и, когда, подумав, высказались все, оказалось, что предложение обстановочного старшины несет не только эту выгоду.

Прежде всего, конечно, выигрывали в скорости. Но, кроме того, выставив знаки речной обстановки в воложках и над заливными песками, мы дезориентировали немцев, предлагали им минировать не основной фарватер, а то, что очень скоро для плавания будет совершенно непригодно.

Многие высказались на том совещании, развивая первоначальные предложения. А на рассвете, когда был готов уже приказ командира бригады, мы, штабные специалисты, разъехались по дивизионам, чтобы детально разъяснить комдивам все, что предписывалось приказом сделать, и, если потребуется, используя свое служебное положение и имя комбрига, помочь превратить в жизнь нашу общую задумку.

И вот на нашем участке Волги в течение двух или трех суток исчезли почти все известные ранее фарватеры, зато множество бакенов появилось там, где они никогда не стояли. Даже в воложках, куда и сейчас — в половодье — пароходам невозможно было заглянуть. Конечно, это создавало определенные трудности для судоводителей, но для того у нас и были созданы при дивизионах лоцманские пункты, чтобы говорить капитанам, куда следует им идти.

Короче говоря, мы основательно потрудились и создали для фашистов фальшивую речную обстановку.

А прошло еще несколько дней, и мы заметили, что нам дышать стало легче, что большинство вражеских

мин, поставленных в последнее время, для судоходства никакой угрозы не представляет.

Настолько легче нам стало, что часть катеров-тральщиков иногда мы стали посылать на траление не сегодняшнего судового хода, а прошлогодних минных полей.

Но окончательно «оживил» меня Кринов чуть позднее. В ту ночь вражеские самолеты опять нещадно бомбили Камышин. В самый разгар этой свистопляски, когда нормального человеческого голоса не было слышно, он подозвал меня и прокричал:

— На подходе к Камышину — нефтекараван! Иди и прими все меры к тому, чтобы он уцелел!

Я, помнится, спросил:

— Что конкретно предпринять?

— На месте увидишь!

— А вдруг ошибусь? — упрямылся я.

Всеволод Александрович глянул на меня, вырвал из своего блокнота листок и написал на нем, что я, капитан-лейтенант Селянкин, выполняю его приказание.

Уже на полуглиссере, еще раз прочитав эту записку, я вдруг понял, как Кринов должен был верить мне, чтобы дать в руки такой страшный для него документ.

В ту ночь я, кажется, впервые за последние месяцы работал самозабвенно, без оглядки. А утром вернул Всеволоду Александровичу его записку, которую он тут же молча изорвал.

С этого дня мне и вовсе вздохнуть стало некогда: хотелось доказать командиру бригады, что он не зря так верил мне.

Но скоро в судьбе моей опять произошел крутой поворот.

Тогда (летом 1943 года) вдруг возникла угроза минирования Волги на участке Саратов — Куйбышев. Немедленно командование приняло решение о создании еще одного (девятого) дивизиона катеров-тральщиков, которому предстояло базироваться на город Хвалынский. Мне и во сне не снилось, что я буду его командиром, но соответствующий приказ пришел, и вот я создаю дивизион, осваиваю новый участок.

Создавать новую воинскую часть, да еще на пустом месте, — невероятно хлопотно и одновременно полезно: чего нихватишься — всего нет, но зато изучишь свое хозяйство, как говорится, «от клотика до киля».

Единственное, что смогла сделать бригада для нового

дивизиона, — выделить в мое распоряжение отряд катеров-тральщиков, который почти на пятьдесят процентов был укомплектован кадровыми матросами. Командовал им лейтенант Л. Лагно, приглянувшийся мне еще во время Сталинградской битвы. Тогда (в октябре 1942 года) мое внимание привлек черный, как цыган, лейтенант, который почему-то топтал по листу фанеры, валявшемуся на берегу. Кругом рвались бомбы, а этому лейтенанту словно только и заботы было, что трамбовать фанеру!

Но что мне особенно понравилось — вокруг лейтенанта проворно и весело работали матросы; такое настроение было главным в то тяжелое для нас время.

Лишь позднее я узнал, что под этот лист фанеры, как под надежнейшую броню, залез трус.

Сознаюсь, мне понравился этот способ воспитания, понравилась находчивость лейтенанта Лагно.

Командиром второго отряда, сформированного уже исключительно из речников, был назначен старший лейтенант Л. Драгинский. Этому, разумеется, было значительно труднее, чем Лагно, этому, разумеется, перепало от меня чаще и крепче.

Дело в том, что вчерашние речники, в душе готовые на подвиг, имели очень приблизительное представление о военной службе. Так, они звали друг друга только по именам, что уставом запрещалось категорически. Они не могли понять, почему мы требуем от них точно в определенные часы производить уборку катера, хотя на его палубе нет ни одной соринки. И так далее и тому подобное. А на одном из катеров, который был передан ко мне в дивизион, военными моряками разом стали муж и жена; ему было около шестидесяти, ей — чуть поменьше. А старшему лейтенанту Драгинскому предписывалось в считанные дни из него сделать командира военного катера, а ей втолковать, что военная служба — вовсе не семья, что здесь жена вовсе не обязана вместе с мужем идти в баню, чтобы потереть ему спину.

Да разве перечислишь все, с чем нам приходилось сталкиваться и бороться в дни формирования дивизиона?

На многое мы, конечно, смотрели сквозь пальцы, со многим мирились во имя главного, но, поверьте, я от стыда был готов провалиться сквозь землю, когда однажды Кринов, прибывший ко мне с проверкой, в трюме одного из катеров-тральщиков обнаружил самую обыкновенную поганку.

Кринов глянул на меня, я — на Драгинского. А тот спокойным голосом приказал уничтожить эту «грибную плантацию». Вроде бы никого не взволновала столь неожиданная находка, но чуть позднее, когда мы с Криновым сидели у меня в каюте, мимо иллюминатора пролетело что-то. Немного погодя — мелькнуло еще.

— И много у тебя лишних мисок? — невинным тоном спросил Всеволод Александрович.

К тому времени я уже прекрасно усвоил, что если у тебя на катерах даже есть что-то лишнее из имущества или боевого запаса, не сознавайся — иначе отберут. А посуды у меня было только-только, о чем я с жаром и доложил командиру бригады.

— Тогда почему у тебя кто-то мисками бросается? — спросил он.

Я, конечно, пулей вылетел из каюты и сразу же натолкнулся на Лагно, который еле сдерживал смех. От него и узнал, что Драгинский так разозлился на своих подчиненных за обнаруженный нами гриб, что выкинул в иллюминатор обед.

Миски были выловлены, так что личный бюджет Драгинского не пострадал, но в штабе бригады приятели еще долго, с самым невинным видом, спрашивали у меня, какие грибы я предпочитаю и чем теперь швыряется старший лейтенант Драгинский.

Однако, как гласит народная мудрость, худа без добра не бывает: вспышка Драгинского убедительно показала вчерашним речникам, как болезненно мы, кадровые военные, реагируем на их упущения по службе, и теперь они старались изо всех сил.

Прошло еще какое-то время, и я, развернув на берегах участок СНИС и установив постоянные деловые контакты с партийными и советскими организациями Хвалынска и других населенных пунктов, доложил командованию, что дивизион готов к решению боевых задач.

Прибыла комиссия, осмотрела, проверила все и даже приняла отработанные нами задачи Курса боевой подготовки. Чувствовалось, осталась довольна. А еще через несколько дней вдруг пришел приказ, которым я назначался командиром дивизиона катеров-тральщиков, базирующихся на Горный Балыклей.

Это было явное поощрение, так как тот дивизион работал в самой гуще минных постановок 2-го боевого района. Несколько насторожило то, что Кринов при на-

шей короткой встрече сказал мне как-то особенно многозначительно:

— Сразу ничего не ломай, сначала приглядишься, взвесь все.

Но «ломать» вообще ничего не пришлось: дивизион был хорошо отрегулирован и работал четко, с настоящим знанием дела. Единственное, что меня сразу же насторожило, так это очень хитро составляемые всяческие отчеты и боевые донесения. Например, однажды ко мне почти одновременно поступили донесения от двух командиров отрядов катеров-тральщиков. Причина, породившая эти документы, была такова: минувшей ночью фашистские самолеты появились над отрядами, которые открыли по ним огонь; на огонь одного отряда самолеты не обратили внимания, а вот второму ответили несколькими бомбами.

Словом, имел место рядовой эпизод минной войны.

Но как все это было расписано в отчетах!

Начинались они примерно так: «Предвидя появление самолетов врага этой ночью, катера были заранее поставлены на огневые позиции (смотри схему № 1)...» Далее шло абсолютно точное описание того, что происходило ночью, зато концовка явно кричала о совершенном подвиге. И если тот, на огонь которого вражеские самолеты не обратили внимания, писал: «...Встретив на своем пути плотную стену огня (смотри схему № 2), они (самолеты) вынуждены были отказаться от нанесения бомбового удара по катерам-тральщикам нашего отряда», то второй, на которого было сброшено несколько бомб, это событие подавал так: «...Наш огонь был столь умело спланирован и настолько действенен, что они (опять же самолеты врага) приняли наши катера-тральщики за охрану важного объекта и сбросили бомбы на пустынный берег... Таким образом, вызвав бомбовый удар на себя, мы отвели его от более ценных для нас объектов...»

В таком стиле были написаны эти отчеты. Главное же — попробуй докажи, что все происходило иначе!

Сначала я чуть было не вспылал, чуть было не спросил, дескать, кому врите? Однако сдержался, поговорил с командирами отрядов строго, но без колкостей, без оскорблений. Единственное, что позволил себе, так это сказать, что в следующий раз, если получу что-либо подобное, автора обязательно пошлю к фашистскому коман-

дованию, чтобы он оттуда принес подтверждение своим словам.

Тогда, летом 1943 года, я не понимал, почему в этом дивизионе именно в таком — приподнятом — духе докладывалось о всех самых заурядных происшествиях. Это уже значительно позже до меня дошло, что подобные отчеты являлись своеобразным щитом для этих людей, которые ежедневно выполняли опаснейшую, но такую неброскую работу. Действительно, это командиры катеров-тральщиков, работающих на сталинградских переправах, и без громких слов весомо заявляли о себе, а что оставалось этим? Сообщать, что в результате двух недель непрерывного траления взорвана одна вражеская мина?

— Не звучит такое, — однажды грустно пошутил кто-то.

Ведь только летом 1943 года нам было приказано нарисовать на рубках катеров-тральщиков красные звезды и внутри их цифру, обозначающую число взорванных вражеских мин.

С любовью и гордостью матросы вырисовывали эти звезды, свидетельствовавшие о том, что и они на войне не бездельничали!

Пока я формировал один дивизион и срабатывался со вторым, наступила межень. И вот теперь мы все увидели плоды того, что в период половодья не пользовались основными фарватерами. Во-первых, они оказались почти полностью очищенными от мин, во-вторых, фашистские летчики сбросили свои мины, ориентируясь по нашей весенней обстановке, так неудачно, что некоторые из них полностью обсохли на песках.

Однако из этого вовсе не следует делать вывод, будто теперь жизнь у нас пошла — лучше не надо. Нет, мы работали по-прежнему изо всех сил. И не случайно адмирал Н. Г. Кузнецов в своей книге «На флотах боевая тревога» написал, что в мае навигации 1943 года силы нашей флотилии были напряжены до предела, что если бы фашисты сбросили в то время в Волгу еще сто или двести мин, то она, возможно, оказалась бы закрытой для судоходства.

Конечно, мне вроде бы не положено даже в малом полемизировать с адмиралом Кузнецовым, который в то время был наркомом Военно-Морского Флота; но, соглашаясь с тем, что весной 1943 года нам было невероятно

трудно, я все же не могу вспомнить ни одного факта, ни одного даже случайного разговора, возникшего между нами, из которого вытекал бы вывод, что судоходство на Волге могло бы прекратиться, если бы...

Да, нам было невероятно трудно. Да, мы забыли, что это за штука распорядок дня, что такое сон хотя бы в течение двух или трех часов подряд. В то время мы (те, кто непосредственно занимался уничтожением вражеских мин) непрерывно думали об одном: как бы так сделать, чтобы суда могли круглые сутки двигаться по Волге, что бы такое придумать, снижающее эффективность вражеских минных и бомбовых ударов.

И много хорошего придумали. И на риск оправданный шли. Даже приказ наркома Военно-Морского Флота, точно определявший наши действия с момента обнаружения минной постановки, мы, командиры боевых участков, помня тот приказ наизусть, порой, — когда он мешал нам решать главнейшую задачу — поддерживать судоходство на Волге — умудрялись «забывать». Мы прекрасно знали, что нас ждет в случае неудачи. Знали и все равно шли на этот оправданный риск, ибо для нас успехи Советской Армии на фронтах были во много раз важнее и дороже личной карьеры, личного благополучия.

Например, обнаружив минную постановку врага, любой из нас был обязан в этом месте определенным радиусом провести окружность, запретную для плавания. И не допускать туда никого, пока траление не будет закончено.

Но Волга, к сожалению, значительно уже моря, и следуй мы точно приказу, — она давно бы вся покрылась подобными окружностями.

Мы не могли допустить ничего подобного, мы самовольно уменьшили радиус окружности запретной зоны или превращали ее в эллипс, даже в полоску, отбитую минными бакенами вдоль одного из берегов.

Наше общее желание видеть Волгу свободной от вражеских мин было настолько велико, что в межень, когда траление на мелководье стало равносильно самоубийству, по инициативе матросов родился «новый способ траления», который остряки флотилии моментально спрятали за интригующим сочетанием букв: «ПМБП — Б!»

Расшифровка этого названия предельно проста: «По mine босой пяткой — бенц!»

Заключался он, этот «новый способ траления», в том, что несколько матросов (иногда — взявшись за руки) цепью входили в реку и босыми ногами ощупывали каждый метр ее дна.

Конечно, подобный «способ траления» никак не вяжется с техническим прогрессом, конечно, матрос, неудачно ступивший на мину, мог запросто взорваться (отсюда и появилось слово «бенц»), но этот доморощенный способ борьбы с вражескими минами лучше всяких слов характеризует тогдашнее наше настроение.

Много и упорно работали мы в навигацию 1943 года, в горячке будней как-то не заметили, что интенсивность вражеских минных постановок вдруг заметно ослабла. Действительно, если за апрель и май враг поставил мин больше, чем за весь прошлый год (364 против 350), то с 1 июня по 10 июля — только 45.

Многие причины вызвали спад вражеской активности, я не собираюсь не только анализировать, но даже и перечислять их все. Упомяну лишь о том, что успешное наступление Советской Армии заставило фашистское командование значительно отодвинуть от Волги свои аэродромы. Да и наша авиация в 1943 году хорошо обрабатывала известные ей вражеские аэродромы, с которых обычно поднимались самолеты-миноносцы.

Итак, где-то в конце июля мы окончательно убедились, что выходим победителями из минной войны на Волге. Не буду скрывать, кое-кто из нас подумал, что теперь траление пойдет более спокойно, что пора вспомнить и о распорядке дня.

Действительно, День Военно-Морского Флота (я тогда оказался в Саратове) был ознаменован парадом кораблей флотилии. Впервые с начала войны мы подняли на кораблях флаги расцветивания!

Конечно, не обошлось и без ошибок, кое-кто от радости настолько ошалел, что умудрился поднять и запрещенные для расцветки флаги, но разве в этом было главное?

Однако снизить темпы траления нам не позволили: до нашего сведения довели приказ Государственного Комитета Оборона, согласно которому уже к осени этого же года Волга должна была быть полностью очищена от мин.

А мин, чья постановка нами была зафиксирована, на 1 августа не взорванными числилось еще 392.

Решение задачи, поставленной перед нами, мы начали с того, что в отрядах и дивизионах провели партийные, комсомольские и общие собрания, на которых каждый имел возможность откровенно высказать свои мысли и предложения. Самые различные и неожиданные. Так, мой дивизион был «пограничным», ко мне первому поступали караваны, закончившие движение по 1-му боевому району. И как-то так случилось, что мы с нижним по течению соседом не договорились о том, что будем извещать друг друга о караванах, проследовавших через наш участок; передоверили это постам СНИС.

Вроде бы — мелочь, подумаешь, не сказали друг другу о караване! Но однажды из-за этой «мелочи» случилось и такое.

В то время фашистские самолеты-бомбардировщики ночами еще свирепствовали над Волгой, пытались разбомбить любую посудину, замеченную на плесе. А мы, разумеется, всячески противодействовали им.

Тот вечер был тихий, а я бы сказал — лирический. Невольно думалось, что сейчас бы руками не оружие сжимать, а девицу обнимать. И шептать, шептать ей самые ласковые слова.

Такому лирическому настрою в немалой степени способствовало и то, что на участке нашего дивизиона не было ни одного каравана! Значит, мы должны были в эту ночь заботиться только о себе! Вот поэтому, убедившись, что все катера хорошо замаскированы и стоят там, где им положено, я беззаботно сидел на берегу, смотрел на звездное небо и вслушивался в веселые байки, на которые матросы всегда были горазды.

Вражеские самолеты ревом своих моторов сразу разметали лирическое настроение: появились стаей, и на малой высоте.

Мы, разумеется, не выдали себя, и они, покружив, уже пошли вниз по реке, когда один из них вдруг отошел чуть в сторону и сбросил несколько бомб на противоположный берег, где, как мы считали, никого и ничего не было.

На левом берегу грохотали взрывы бомб, пламя взрывов освещало падающие кусты, деревья и еще что-то, похожее на обломки бревен, а мы сидели на правом берегу и похохатывали: кто-то из матросов высказал мысль, что самолеты — наконец-то, решили додолбить нашу мишень.

«Мишень» — тоже детище матросов. Чтобы отвлечь вражеские самолеты от настоящих целей, мы, используя рельеф берега, кое-где сами ставили «баржи», на которые ночью вражеские самолеты и сбрасывали свой груз.

Остатки одной из таких «барж» и были у того берега. Может, второй раз на одну приманку клюнули летчики?

Вот и похохатывали мы.

Зато утром, когда стал отчетливо виден тот берег, мы долго угрюмо молчали, глядя на торчащие из воды ребра двух деревянных барж.

Часов через пять или шесть нагрянула комиссия с такими полномочиями, что зашагал в штрафную — говори, еще легко отделался.

Она и установила, что в полной темноте буксирный пароход снизу привел баржи сюда и приткнул к берегу под «кормой» нашей мишени; по своей наивности капитан буксира посчитал, что замаскировал их хорошо, вот и сохранил от нас в тайне свой приход.

Теперь, после собраний, подобные случаи, когда мы не знали об идущем к нам караване, исключались на чисто, теперь оперативный дежурный по дивизиону перед наступлением сумерек был обязан взять на особый учет все суда, направляющиеся к нам с соседних участков; сам о них спрашивал, а не ждал, когда и что сообщат.

На одном из таких собраний не помню кто предложил и довольно-таки своеобразное траление мин на мелководье, где, как я уже говорил, появление катера-тральщика было равносильно самоубийству.

Этот способ траления сводился к тому, что тральщик, которому предстояло обработать мелководную минную банку, по чистой воде поднимал трал в верхнюю ее часть, где и отдавал буксир. Теперь трал самосплавом шел по минному полю, а катер следовал параллельным курсом и по безопасному фарватеру, чтобы в нужный момент взять трал на буксир и вновь поднять в изначальную точку траления.

Конечно, этот способ борьбы с вражескими минами имел много недостатков (медлительность траления, отклонение полосы траления от заданного направления и так далее), но все равно и он пригодился нам.

Короче говоря, траление возобновилось с еще большим неистовством.

А что касается настроения людей, атмосферы, в которой нам приходилось работать, об этом лучше всего судить, как мне кажется, по таким трем случаям.

Все мы, пришедшие на Волгу с различных морей, очень пренебрежительно относились к речным штормам: что нам волнение в этой речке, если мы и с океанской волной на «ты»?

И вот ночью на Волге разгулялся ветер-низовик. Его напор был так неистов, что одну трал-баржу сорвало со швартовых и понесло. Мы только проводили ее глазами: нечего было и думать начинать погоню за ней при такой волне. Да и нельзя нам было подходить к трал-барже — сразу начисто исчезло бы наше размагничивание.

К утру шторм утих. О нем теперь напоминали только сломанные деревья и наша трал-баржа, которую недавними волнами выбросило на пески да так, что от нее до воды метров двадцать оказалось.

Шторм — стихийное бедствие, и мы еще дешево отделались, временно потеряв лишь одну трал-баржу, так что ни мне, ни кому-то другому наказания большого не предвиделось. Но общее желание поскорее очистить Волгу от вражеских мин было настолько велико, что несколько доброхотов тут же начали подсчитывать, сколько и на какое время потребуется людей, чтобы вырыть канаву-канал от Волги до трал-баржи; с учетом только своих сил и сил жителей прибрежных деревень, в помощи которых никто из нас ни на минуту не сомневался.

А представитель Наркомата речного флота в это время остановил буксирный пароход «Лев» и предложил его капитану завести на трал-баржу буксир и попытаться стащить еще с песков.

Попытка «Льва» закончилась тем, что трал-баржа осталась на песках, а он сломал свой буксирный гак. Но ни слова упрека не было высказано в наш адрес. «Лев» просто ушел в ближайший затон, оставив на наше попечение свой караван.

Ушел «Лев», с тремя нефтеналивными баржами на буксире появился «король» волжских буксиров — «Степан Разин». Представитель Наркомата речного флота остановил и его.

На мостик «Степана Разина» вместе с представителем наркомата поднялся и я; в тот момент я и сам не знал, чего хотел: с одной стороны, хорошо бы снять трал-

баржу с песков, с другой... А вдруг и у «Степана Разина» что-нибудь сломается?

— Тяпком (рывком) ее, тяпком, — достаточно громко прошептал кто-то из речников, служивших у меня, когда буксир от «Степана Разина» был заведен на трал-баржу.

Капитан буксирного парохода покосился на него и скомандовал:

— Малый вперед!

Я не смотрел на трал-баржу. Мне было больно от одной мысли, что сейчас наша трал-баржа, как мертвый якорь, остановит и «Степана Разина», который в то время считался мощнейшим буксиром Волги.

Я с минуты на минуту ждал, что вот сейчас капитан буксира сначала застопорит машину, а потом и начнутся «тяпки», но он спросил:

— Куда тебе поставить ее?

Я оглянулся. Оказывается, вспахав пески, трал-баржа теперь послушно шла на буксире «Степана Разина»...

Второй случай произошел вскоре после этого.

Группа моих катеров-тральщиков заканчивала последние приготовления и вот-вот должна была выйти на траление. Все было спланировано «по последнему слову науки», как зубоскалили матросы: и число тральных галсов, и время нахождения на каждом из них, и так далее. И вдруг в самый последний момент матросы обнаружили, что пьян командир отделения минеров одного из катеров-тральщиков старшина 1-й статьи Тимофей Р.

Я только глянул в его остекленевшие глаза, сразу понял, что сейчас говорить с ним бесполезно, что к тралению его допускать ни в коем случае нельзя. Помнится, приказал уложить его спать, а сам напялил на себя комбинезон и занял в тральном расчете место командира отделения минеров.

Конечно, я не обязан был поступать так, конечно, минеры катера-тральщика могли бы и без меня справиться с работой, но я заменил Тимофея Р. Сделал это исключительно потому, что хотелось как можно точнее выполнить весь план траления.

И проработал за командира отделения минеров весь долгий летний день. Не успел, переодевшись, войти в свою каюту, как подбежал один из командиров катеров тральщиков и выпалил:

— Товарищ комдив, там матросы его судят!

Действительно, на большой поляне метрах в ста от

береговой кромки сгрудились почти все матросы этой группы катеров-тральщиков. В самом центре их, комкая пальцами бескозырку, стоял Тимофей Р.

Я, изо всех сил работая локтями, пробился к нему, встал почти рядом. Вскоре ко мне пристроились замполит и парторг дивизиона, парторг и командир отряда этих катеров-тральщиков.

Многое повидал я за годы своей жизни. Но таких искренне гневных речей не слыхивал никогда. И самое страшное в них было то, что все выступавшие, словно сговорились, отказывались в Тимофее Р. видеть товарища, все требовали, чтобы он во избежание беды (на войне, известно, и случайные смерти бывают) уходил из нашего дивизиона. Хоть с помощью трибунала, хоть в штрафную, но уходил.

Вообще-то Тимофей Р., которому в то время чуть перевалило за сорок, был знающим, дисциплинированным, исполнительным специалистом, смерти не искал, но и не бежал от опасности, и еще нынешним утром пользовался добротным авторитетом у тех самых людей, которые сейчас категорически требовали его исчезновения из дивизиона.

Помнится, Тимофей Р. спросил:

— А как я уйду, если нахожусь на военной службе?

— Не наша забота! — отрубили ему.

Потом Тимофей Р. заплакал и как-то невероятно тихо сказал:

— Как же я, братцы, без вас жить буду?

И столько искренней боли было в этих словах, что мое сердце дрогнуло, и я — комдив, которому, казалось бы, в первую очередь надо было ратовать за укрепление дисциплины, — стал уговаривать матросов простить Тимофея Р.

Матросы остались неумолимы.

Тогда, посоветовавшись с замполитом, я использовал свою власть.

Матросы, повозмущавшись, разошлись, заявив мне:

— Учтите, не мы, а вы сами оставили этого гада на дивизионе!

Забегая вперед, скажу, что с Тимофеем Р. мы вместе дошагали до конца войны. И за все последующие годы у меня не было даже малейшего повода, чтобы упрекнуть его в чем-то. Да и матросы, видя его усердие, скоро сменили гнев на милость.

И, наконец, третий эпизод.

Для разоружения вражеских мин у нас во флотилии была создана специальная партия, которая прекрасно знала свое дело, была постоянно готова выехать в любое место и по первому требованию. Но уж так устроен человек, что не хочет прибегать к помощи «варягов», если есть хоть малейшая возможность управиться самому. Вот и Кринов однажды, разговаривая со мной по телефону, вдруг попросил меня на катере-тральщике прийти в Камышин, в штаб бригады.

Если начальство просит, а не приказывает, это сразустораживает. Поэтому я несколько не удивился, когда Кринов, встретив меня как дорогого гостя, вдруг сказал, что на приверхе Каравайинской воложки обсохла вражеская мина, которую неплохо бы разоружить самим, без чьей-либо помощи.

Годом раньше мне посчастливилось справиться с двумя подобными находками, вот поэтому Всеволод Александрович и обратился ко мне с этим прозрачным намеком. Я, конечно, на приманку клюнул, сказал, что завтра на рассвете начну работать.

Не буду описывать, как мне удалось разоружить мину, тем более, что главное произошло позднее, когда я, закончив работу, спустился в матросский кубрик и прилег на чью-то койку, чтобы отдохнуть после недавнего чрезмерного нервного напряжения.

Проснулся как раз в тот момент, когда катер-тральщик, на котором я шел, без обычных в таких случаях команд вдруг коснулся бортом нашего штабного дебаркадера. И тут же командир катера-тральщика сказал кому-то:

— Комдив мину разоружил, сейчас отдыхает.

Теперь, казалось, и вовсе все умерло вокруг. Только волны чуть слышно плескались о борта.

...Мне кажется, вот эти три рядовых эпизода минной войны лучше всего характеризуют те взаимоотношения, ту атмосферу, которая царила тогда в дивизионе.

Поэтому я не очень удивился, когда первое бывшее минное поле мы оказались готовы сдать раньше запланированного срока.

Сдать минное поле... Как это обыденно и даже прозаично звучит сейчас, и сколько переживаний, размышлений и даже сомнений эти слова вызывали тогда, летом 1943 года!

Сдать минное поле — значило заявить командованию, заявить всему нашему народу, что отныне здесь должно плавать спокойно, ибо нет больше ни одной вражеской мины.

А легко ли было заявить такое?

Вот подписал я все соответствующие документы, проследил, как были сняты минные бакены. Вроде бы надо радоваться, а у меня внутри каждая жилочка дрожит: вдруг вот тот пароход, что втянулся на бывшее минное поле, сейчас от взрыва мины переломится пополам?

Несколько дней страдаешь, пока убедишься, пока уверуешь, что здесь действительно мин нет.

И такое бывало после снятия каждого минного поля.

Нервы натянулись — дальше некуда.

Настолько были натянуты, что когда ниже Александровской суводи, где я в это утро снял последний минный бакен, прогрехотал взрыв, мы, кто в это время находились на КП дивизиона, на какое-то время словно потеряли дар речи.

— Может быть, бомба какая взорвалась, — наконец робко сказал кто-то.

Нет, к тому времени мы были слишком учеными, чтобы взрыв вражеской неконтактной мины спутать с каким-то другим.

Я уже говорил, что весной 1943 года на обеих берегах Волги прочно обосновались посты СНИС, что мы все время с ними и через них имели связь. На этот раз молчат посты, и все тут!

Оставалось ждать, когда поступит донесение с какого-нибудь из постов СНИС, или прыгнуть на любой катер и слетать к месту взрыва. Последнее походило на бегство от тревожного ожидания, и я упорно сидел на КП. Зато мой начальник штаба капитан-лейтенант Отелепко, даже забыв спросить у меня на то разрешение, взял полуглиссер — и был таков.

Минут тридцать или сорок я просидел в окружении молчаливо сочувствующих людей. Потом появился Отелепко. Руки в глине, брюки на правом колене разорваны — таким он ввалился на КП. Но глаза его лучились счастьем, и я понял: беда прошла стороной.

А еще через несколько минут я уже знал, что два моих матроса обнаружили на песках обсохшую мину и, зная, что простым смертным подходить к ней запрещено, тайком и поковырялись в ней.

На их счастье, все обошлось благополучно, они достали все приборы (самое ценное, из-за чего мы и разоружали мины), а заряд взорвали.

Помнится, под горячую руку каждому из них я дал по несколько суток гауптвахты, а позднее — заполнил на них наградные листы.

Вот так — в постоянном напряжении — и шла наша жизнь. Причем всегда катеров-тральщиков чуть-чуть не хватало, чтобы выполнить все то, что следовало бы сделать сегодня. И вдруг однажды я обнаружил, что у меня появились лишние катера-тральщики.

Еще раз проверил все заявки и расчеты. Ошибки не нашел.

Тогда впервые с грустью и подумал, что очень скоро не станет нашего дивизиона.

Действительно, уже через несколько дней я получил от Кринова приказ, в котором говорилось, что группу своих катеров-тральщиков я обязан немедленно передать 1-й бригаде траления, где работы еще хватало.

В начале этих воспоминаний я сетовал на то, что в дивизионах у нас было предостаточно маломощных катеров, полученных от Наркомата речного флота. Прежде всего мы, разумеется, избавились от них. И знаете, будто частицу самого себя отправил я с этими катерами. Так муторно было на душе.

Но растались мы со вчерашними речниками тепло, я бы сказал, даже по-родственному.

С первой партией катеров-тральщиков я отправил в Сарепту и тот, команда которого была полностью укомплектована девушками-краснофлотцами.

Девушки-краснофлотцы...

Не знаю точно, когда вообще они появились на флоте, но я обнаружил их присутствие на флотилии осенью 1942 года.

Случилось это после того, как мы благополучно вернулись с Дона. Шел я берегом Волги, наслаждался тихим вечером и вдруг увидел Никиту Кривохатько, которого по груди и спине (до лица не могли дотянуться) молотили две девушки в матросской форме.

Увидев меня, Никита не смутился, расплылся в улыбке и певуче сказал:

— Бачите, товарищ капитан-лейтенант, як воны мене кохають?

Я рассмеялся.

Тут одна из девушек, поправив берет, сбившийся набок, дрожащим от обиды голосом и рассказала мне, что они с подругой для прохождения службы направлены в ОБТ, о чем и сказали этому «медведю», который спросил, куда они путь держат. А сказали — он, Никита, взял их на руки и принес сюда, словно они сами ходить не могут!

Я отлично знаю, что Никита не помышлял обидеть девчат. Не оскорблением, а проявлением нежности были его действия.

Не один он, все мы в то время жалели девчат, которые волею судьбы были обязаны одеться в военную форму. Тогда, хотя мы с огромным душевным волнением и читали о подвиге Зои Космодемьянской, еще плохо верилось в их выносливость, мужество и физическую силу.

Потом, во время Сталинградской битвы, мы убедились, что все это присуще им. Но ведь то были армейские девчата...

Позднее, весной 1943 года, девушки нашей флотилии встали к пулеметам и зенитным пушкам, чтобы отражать атаки вражеских самолетов. Добродушно посмеивались и мы, и речники, когда они устанавливали свое оружие на палубах и мостиках пароходов. Но уже очень скоро наши девушки-матросы так зарекомендовали себя, что, если была возможность выбора, капитаны пароходов девичьи зенитные расчеты предпочитали мужским.

Печально, стыдно, но это факт, которым женская половина рода человеческого может гордиться.

А в наших дивизионах девчата занимали самые мирные должности: были писарями, баталерами.

Все шло по заведенному порядку, и вдруг девчата дивизиона, которым я теперь командовал, взбунтовались: заявили, что чувствуют себя достаточно сильными и подготовленными для того, чтобы стать экипажем одного из катеров-тральщиков. И был сформирован такой экипаж.

Произошло все это при прежнем комдиве, я, приняв от него дивизион, был поставлен, так сказать, перед фактом, что такой катер есть. И что командует им старшина 2-й статьи Антонина Емельяновна Куприянова.

Добросовестно, мужественно и умело работали девчата, даже вытралили одну мину. Но я, новый комдив, все равно не мог к ним относиться так, как к экипажам дру-

гих катеров-тральщиков. Мне почему-то все время казалось, что ноша, которую девчата добровольно взвалили на себя, все же тяжеловата для них.

Виновата в том, что это мое мнение держалось так долго, возможно, и первая моя встреча с экипажем девичьего катера-тральщика.

До самого последнего дня своей службы я считал, что боеготовность одного катера лучше всего и безошибочно определять по тому, как его личный состав реагирует на сигнал боевой тревоги. Поэтому, принимая и этот дивизион, я побывал на всех катерах и везде начинал с того, что приказывал дать сигнал боевой тревоги. Причем обязательно в тот момент, когда сон был наиболее крепок.

Может быть, это и ненормальность, но я был готов расцеловать матроса, который, схватив свое обмундирование, летел на боевой пост, не замечая меня — командира. Может быть, это и ошибочно, но я считал и считаю, что воин именно с таким настроением способен на подвиг, ибо главное для него — поскорее изготовить к бою оружие.

И на катер-тральщик девчат впервые я явился глубокой ночью. Единственное, что могу сказать в свое оправдание, — меня не предупредили, что это именно тот катер, где служат девчата.

Вахтенный еще только собирался шагнуть ко мне, чтобы отрапортовать, а я уже приказал:

— Боевая тревога! — и сразу сунулся в кубрик.

Через несколько секунд, поняв всю нелепость своего присутствия в кубрике, где с коек повскакивали полуодетые девчата, я пулей вылетел на палубу катера-тральщика.

Вроде бы и конфликта не было, но чувство жалости к этим девушкам, которые были обязаны жить по суровым законам войны, не покидало меня до того дня, пока их катер не ушел от нас.

Да, настал такой день. Под вой сирен катеров-тральщиков почти всего дивизиона, на палубах которых застыли шеренги моряков, катер девчат снялся со швартовых.

Девчата не смогли стоять в строю по стойке «смирно», как того требовал устав. Они сначала сгрудились около рубки под большой красной звездой с единицей в центре, потом перебежали на корму. И махали, махали нам беретам.

Шли дни, и все меньше и меньше на нашем боевом участке оставалось минных полей, а у меня — катеров-тральщиков в дивизионе. И радость (мы справились с заданием!), и грусть (прощай, 6-й дивизион катеров-тральщиков!) в те дни прочно обосновались в сердце каждого из нас.

Наконец, в конце сентября, когда вместо дивизиона у меня катеров-тральщиков было чуть побольше отряда, я своей подписью скрепил снятие последнего вражеского минного поля на моем участке.

Поставил подпись, и невольно подумалось: «А дальше что? Куда военная тропа теперь поведет меня? И как я буду там, на новом месте, без этих матросов, старшин и офицеров, с каждым из которых сроднился как с братом?»

Больше всего боялся, чтобы не случилось так, что я, стоя на берегу, буду провожать последний катер-тральщик своего бывшего дивизиона.

Но командование флотилии вдруг вручило мне отпускной билет, разрешило съездить домой. Это было столь неожиданно и радостно, что я словно ошалел и, когда настало время подняться на пароход, на котором мне предстояло пройти по Волге до Саратова, с ужасом подумал, что я все бегал, прощался с людьми, прощался, а небольшое свое имущество в чемодан не побросал.

К счастью, об этом позаботились матросы.

И вот я стою на крыле мостика парохода и с грустью смотрю на те немногие катера-тральщики, что остались от дивизиона. На их палубах ровными строчками застыли недавние мои подчиненные и боевые друзья. И еще — враз выли сирены всех катеров.

Нет, вы, читатели, наверняка не знаете, что испытывает человек, когда плачут сирены всех катеров.

ЗДРАВСТВУЙ, ДНЕПР!

После месячного отпуска, во время которого я прежде всего попытался отоспаться и лишь потом походил по родному городу и заглянул в театры, отбыл к новому месту службы — в Онежскую военную флотилию на должность начальника штаба дивизиона минометных катеров.

Здесь меня встретили доброжелательно, с уважением и даже завистью поглядывали на мои два ордена и ме-

дали «За оборону Ленинграда» и «За оборону Сталинграда». И с командиром дивизиона капитаном 3-го ранга М. Крохиным, и с командирами отрядов, и с матросами и старшинами я быстро нашел общий язык, хотя не обошлось и без своеобразных столкновений.

Дело в том, что этот дивизион был сформирован из торпедных и других катеров, вооруженных легендарными «катюшами» самых различных калибров. И вполне понятно, что кое-кому из старых торпедников было несколько обидно, что над ними стою я, который до этого ни одного дня не служил на дорогих их сердцу «коробочках». Естественно, они и попытались проэкзаменовать меня, даже опротестовать кое-какие мои распоряжения.

Так, механик, на козырьке фуражки которого был золотой венчик — свидетельство того, что он принадлежит к старшему офицерству (напомню, что я был всего лишь капитан-лейтенантом), однажды заявил, что я ошибаюсь, когда приказываю закончить ремонт в такой-то срок. Причем, чтобы привлечь внимание других, говорил громко, с апломбом. И неоднократно подчеркнул, что я еще под стол вешком ходил, когда он первый в своей жизни мотор отремонтировал. Да и вообще, с каких это пор строевые офицеры стали знать больше, чем специалисты?

Одного не учел этот в общем-то милый человек: прибыв сюда, я опять засел за изучение устройства этого типа катеров и боевой техники, которую они использовали. Кроме того, прежде чем отдать распоряжение, я основательно проконсультировался со многими наиболее опытными мотористами; они и подсказали мне решение.

Вот поэтому, когда наш спор принял нежелательную форму, я не стал кому-либо жаловаться, а, помнится, так сказал механику:

— Мое распоряжение остается в силе. Если вы через час, подумав спокойно, не согласитесь, что оно реально, я сам возглавлю ремонт. Но каково будет вам, специалисту, служить здесь, если я окажусь прав?

Ровно через час, переборов свою гордость, он пришел ко мне и доложил, что признает свою ошибку.

После этого случая мы с ним прониклись друг к другу доброжелательностью и уважением.

Все шло вроде бы нормально, во время штабных учений мы разыгрывали варианты операций по освобождению Петрозаводска, и вдруг в первых числах марта меня

вызвали в Москву в наркомат, где и сообщили, что с сегодняшнего дня я снова командир дивизиона катеров-тральщиков, но теперь в Днепровской военной флотилии. И не без лукавства, обычно не свойственного работникам такой солидной организации, добавили, что я, вероятно, обрадуюсь, когда приму дивизион.

В Киеве на вокзале меня встретил знакомый по Сталинграду офицер и, ни слова не говоря, отвез прямо... на квартиру Кринова!

Но радость нашей встречи была более чем недолгой: Всеволод Александрович, оказывается, уже «сидел на чемоданах», он через час следовал к новому месту службы. Невольно подумалось, что опоздай мой поезд, и встреча наша не состоялась бы.

Обнялись мы с ним, прослезились, вспомнив товарищей, павших в боях на берегах Волги, опрокинули «посошок» и вновь расстались, думали — ненадолго, но случилось так, что найти друг друга смогли лишь в 1967 году.

На проводях Кринова был и капитан 3-го ранга Комаров — начальник штаба той бригады, в которой мне теперь предстояло служить. Комбриг в то время в Киев еще вообще не прибыл, так что все самые необходимые сведения о флотилии и ее задачах я получил от Алексея Андреевича. От него и узнал, что на Днестре решено создать три бригады речных кораблей:

1-я бригада — 2-й гвардейский дивизион бронекатеров, отряды сторожевых и минных катеров, полуглиссеров и катеров-тральщиков, а также плавучая батарея № 1220;

2-я бригада — все как и в первой, но она еще находилась в стадии формирования;

3-я бригада — из четырех дивизионов катеров-тральщиков, отряда полуглиссеров и 292-го и 293-го отдельных зенитных дивизионов.

Он же, Комаров, мне и сказал, что сейчас на Припяти (западнее Мозыря) флотилии предстоит прикрывать стык 55-й стрелковой дивизии и 119-го Укрепленного района, что самые опытные, самые готовые к близким боям — дивизионы бронекатеров капитана 3-го ранга Пескова и мой.

Действительно, очень скоро эти два дивизиона станут ядром, вокруг которого будут группироваться все про-

чие. Вот как об этом сказано в книге В. Павлова «Идущие впереди»:

«Прибыли (на Днепр) защитники Ленинграда во главе со своим командиром Селянкиным. Все они — люди бывалые, в большинстве своем награжденные орденами и медалями, и не мудрено, что михайловцам (матросам дивизиона бронекатеров, которым тогда командовал капитан-лейтенант И. П. Михайлов) приходилось подтягиваться, равняться по ним и в боевой подготовке, и в железной, нерушимой флотской дисциплине».

Больше ничего Комаров мне сказать не мог, но и этого было более чем достаточно. Я заторопился на катера и лишь спросил у него, где их искать.

— Как где? Конечно, в гоне, — ответил Алексей Андреевич.

Что это за штука таинственный «гон», об этом я не спросил: была у Алексея Андреевича такая излюбленная манера, что подбросит загадку, а сам молчок: дескать, разгадывай, для того тебе и мозги дадены.

И пошел я по Киеву к Днепру, ибо где еще могли стоять мои катера-тральщики?

Ждал встречи с катерами, но просто остолбенел, когда у берега увидел катер-тральщик № 120 — тот самый, на палубу которого я ступил, вернувшись на Волгу в мае 1942 года.

Сдерживая волнение, солидно подошел к катеру, и только шагнул на его трап — вахтенный как-то особенно звонко скомандовал: «Смирно!»

А еще через несколько секунд командир катера-тральщика главный старшина И. П. Третьяков доложил мне, что на катере все в порядке, сделал небольшую паузу и добавил:

— Если не считать того, что Тимофей Р. с радости все пересолил.

И вот эта «добавка», не предусмотренная уставом, лучше всего сказала мне, что я снова дома, снова среди друзей.

Таинственный «гон», куда меня адресовал Комаров, оказался гаванью особого назначения и находился на противоположном берегу затона. Круша корпусом катера хрупкий весенний лед, мы и прошли туда.

Два отряда моих сталинградцев уже стояли там!

10 марта 1944 года прибыл я в Киев, а еще дней через десять — двенадцать меня вызвал к себе командую-

ший флотилией капитан 1-го ранга В. В. Григорьев и дал первый боевой приказ: произвести траление в районе Чернобыля, где, по имеющимся сведениям, фашисты поставили мины на судовом ходу.

Сложность этого вроде бы и обычного для нас задания заключалась в том, что, беря курс на Чернобыль, на Припять, нам предстояло пройти по реке, где все знаки речной обстановки были уничтожены врагом; да и в лесах по берегам (особенно на Припяти) еще скрывались банды бульбовцев и прочего сброда.

Но самое первое испытание ждало нас уже на выходе из Киева.

Дело в том, что фашисты взорвали мост выше Киева (кажется, он назывался Петровским), обрушили в реку его фермы.

Еще в день своего приезда в Киев я на катере-тральщике № 120 сходил и к Дарницкому, и к этому мосту. И удивился, почему еще зимой не было сделано попытки расчистить фарватер от ферм моста. Ведь теперь они, подобно плотине, перегораживали Днепр, к ним течение прибило лед, и вода с ревом неслась в единственный прогал между железными клыками.

Уже тогда я прикинул, что если прикажут двинуться вверх по Днепру, то идти придется только самым полным ходом, чтобы течение не осилило, не бросило на обломки ферм. И теперь, подготовившись к походу, сразу самым полным ходом рванулся к мосту, нырнул в прогал.

За мостом мы остановились, чтобы еще раз проверить, все ли в порядке, не забыли ли чего. Тут же я и приказал радисту доложить в штаб флотилии, что иду к месту траления.

Похоже, там не ожидали от нас такой прыти, запросили, прошел ли я мост. В ответ я повторил первую радиограмму. Тогда последовал очень выразительный вопрос: «Насколько это точно?»

Ответил, кажется, не совсем дипломатично.

Настроение несколько подпортилось. А тут еще, как назло, с верховьев Днепра пошел лед. Да так плотно, что мы с трудом поползли вперед.

Сознаюсь, когда мы вернулись в Киев и я в водолажном скафандре спустился под воду, то ужаснулся — обшивка корпуса в подводной части так вдавилась внутрь, что казалось: вот-вот лопнет от чрезмерного напряже-

ния; невольно пришла мысль, что сейчас мой катера невероятно похожи на исхудавшего человека, про которого принято говорить, что у него все ребра пересчитать можно.

Мы подходили к устью Десны, когда матрос Ю. Губанов — здоровенный рыжеватый детина с бесцветными глазами, дежуривший у крупнокалиберного пулемета, крикнул:

— Вижу броняшки и сторожевые катера!

На головном катере идущих навстречу был поднят флаг командира бригады, а на следующем — брeid-вымпел командира дивизиона бронекатеров капитана 3-го ранга Пескова.

Если встречались хотя бы два военных корабля, обязательно весь личный состав (кто в этот момент находился на верхней палубе) становился вдоль борта по стойке «смирно», а все прочие предпочитали отсидеться во внутренних помещениях (кому хочется без особой нужды торчать в строю?). Но здесь на палубы — как у нас, так и у них — повысыпали все и так оглушительно орали «ура», что моторов не слышно стало.

Катер, на мачте которого реял флаг командира бригады, подошел к берегу. Я этот маневр понял как приглашение к разговору и тоже немедленно отшвартовался под яром, а еще через несколько минут представился командиру бригады капитану 2-го ранга С. М. Лялько.

Вот так и случилось, что своего комбрига я еще и не видел, а чужому уже пожал руку, кратко поведал о Кисеве и сам узнал, что 1-я бригада в полном составе перебазируется из Чернигова в Костюковичи, где поступит в оперативное подчинение 61-й армии (переход бригады длился с 19 марта по 2 апреля).

Пока мы — Лялько, Песков и я — обменивались новостями, матросы тоже беседовали, угощали друг друга табаком и всем прочим, чем только располагали.

— Слушай, а вы с Михаилом Докукиным когда поссорились? — вдруг спросил Песков.

— Чтобы я поссорился с Мишкой? Да никогда!

— Тогда почему спиной с ним разговариваешь? — засмеялся Песков.

Действительно, у меня за спиной плыл в улыбке Михаил Михайлович Докукин! Не просто лейтенант, а старший! И командир отряда сторожевых катеров!

А потом мы снова двинулись навстречу льдам.

Этот наш рейс, продолжавшийся чуть больше десяти дней, окончательно убедил меня в том, что с навыками, полученными на Волге, мы можем плавать и здесь, плавать, ориентируясь исключительно по естественным приметам, что мои матросы по-прежнему рвутся в бой.

Только вернулись в Киев после безрезультатного трагения — нас послали в Мозырь, послали с караваном, в составе которого, кроме прочих, была еще и баржа-нефтянка. Вот теперь, комдив, держи ухо востро: достаточно одной удачной очереди с самолета или с берега, чтобы весь твой груз дымом пошел!

Однако до Мозыря дошли благополучно, под вечер поставили караван на якоря ниже понтонной переправы. Я намеревался сразу же сдать караван и поспешить обратно в Киев, но комендант города наотрез отказался сегодня принять груз:

— Вот утром разведуй переправу, тогда и пройдешь вверх, сдать все кому положено.

Я еще ломал голову над тем, почему комендант так упорно стоял на своем, а матросы уже узнали, что почти каждую ночь в небе над Мозырем хозяйничали фашистские самолеты и нещадно бомбили переправу, сам город и все, что обнаруживали на реке.

Я не обиделся на коменданта за его маленькую хитрость. Подумал, что, окажись я в его положении, возможно, поступил бы так же.

А в некоторых домах, что стояли почти на берегу Припяти, размещались госпитали. И в каждом из них были медицинские сестры, нянечки и даже врачихи. Вот и загорелись мои матросы желанием побывать в госпиталях, чтобы посмотреть, а нет ли там «раненого земляка».

Не знаю, может быть, я и капитулировал бы под их умоляющими взглядами, но тут появился фашистский самолет-разведчик, и матросы сразу разбежались по своим боевым постам.

Ох, как невыносимо тяжело нам было оставаться на катерах, когда на берегу толпились девчата и женщины, и с искренней нескрываемой симпатией поглядывали на катера!

Но наша выдержка скоро была вознаграждена.

Едва полностью стемнело, появились вражеские самолеты-бомбардировщики. По ним открыли огонь зенитчики города, их искали в черном небе прожекторы.

А дальше все произошло изумительно просто, как бы-

вает только на войне: в перекрестье двух прожекторов попал вражеский самолет, все мои катера почти одновременно ударили по нему, и пулеметные трассы сразу же уперлись в него; несколько секунд он еще лежал на прежнем курсе, а потом перешел в беспорядочное пики и грохнулся на землю.

Конечно, мы завопили «ура». Еще громче, пожалуй, кричали люди на берегу. И раненые, находившиеся на излечении в госпиталях, и медперсонал, и жители города.

Как мы узнали позднее, это был первый сбитый над Мозырем самолет врага.

Всю ночь, переполненные гордостью, матросы дежурили на боевых постах, а утром главный старшина Третьяков отправился собирать подтверждения того, что самолет сбит именно нами.

Вернулся он примерно часа через три злой — дальше некуда. Оказалось, и командир зенитчиков города, и командир понтонеров подписями своими засвидетельствовали, что вражеский самолет сбит нами, а вот комендант города наотрез отказался наложить свою визу!

Мы, разумеется, возмутились, заочно много неслестного высказали в адрес коменданта, но большего сделать не успели: переправу развели, и нам пришлось пройти вперед, чтобы там, по ту сторону переправы, сдать караван.

Сдали, даже расписку получили. И теперь я, полный решимости насмерть стоять за правду, отправился искать коменданта города. И нашел. И высказал ему все, что думал о его самоуправстве.

Он не вспыхнул, он заговорил со мной предельно миролюбиво:

— Скажи, а почему я должен этот самолет записывать на тебя? Мои зенитчики почти год бьют по ним, бьют, и все мимо.

— Это не моя вина! — продолжал хамить я.

— Тебя и не виню... Но самолет сбитый не отдам.

— Чтобы оправдать расход боезапаса?

И тут комендант сказал такое, что я на некоторое время онемел:

— Слушай, а может быть, это первый самолет, сбитый твоими орлами? Тогда, конечно, другое дело... Хотя, не может быть такого, это моим сбитый вражеский самолет диковинка... Вот и думал, так сказать, поднять мо-

ральный дух своих певешников... Но если сбитый самолет и для твоих матросов новинка — уступаю, без споров подпишу и припечатаю твою бумагу.

Сознаться, что он угадал, оказалось выше моих сил, и я, небрежно махнув рукой, мол, пользуйтесь нашей добротой, вышел из комендатуры.

Когда я пересказал матросам наш разговор с комендантом, в результате которого от нас «уплыл» вражеский сбитый самолет и наши пулеметчики остались без наград, буквально все одобрили мое решение. Даже матрос Юрий Губанов, которому хотя бы медаль была ой как нужна.

Он пришел на катер-тральщик в самый разгар Сталинградской битвы, пришел прямо из исправительной колонии, где отбывал срок за грабеж. Некоторое время был молчалив, угрюм, на всех нас с каким-то недоверием поглядывал своими бесцветными глазищами. А потом оттаял, оказался хорошим товарищем, и все мы хотели, чтобы он поскорее отличился в бою. Тогда можно было бы и ходатайствовать о том, что он вину свою испил.

Как пулеметчик, он еще утром имел все шансы на медаль.

Комендант Мозыря оказался хитрым, расчетливым: он через посыльного сообщил мне, что «в силу соответствующих причин переправа несколько суток разводиться не будет» и мне надлежит сделать из этого выводы. Какие? Понимай: облюбуй себе огневую позицию и стой там, помогай нам отгонять от переправы вражеские самолеты.

В то время все мы были молоды, полны сил, задора и даже излишней удали. Поэтому не всегда делали то, что, казалось бы, само вытекало из сложившейся обстановки. Вот и тут, воспользовавшись тем, что командир одной из дивизий (фамилию его забыл), державшей здесь оборону, попросил меня, сославшись на бездорожье, доставить к фронту боезапас, мы снялись со швартовых и двинулись к линии фронта, чего, конечно, не ожидал комендант Мозыря.

Фронта, как такового, не увидели: половодье набирало силу, и Припять разлилась так, что ее основное русло было трудно даже угадать; мы просто подошли к берегу в указанном месте и разгрузились.

А нам все-таки хотелось взглянуть на здешних гитле-

ровских вояк. Неужели такие же спесивые, самоуверенные, как и до разгрома армии Паулюса под Сталинградом?

И под покровом ночи на самом малом ходу, чтобы шум моторов не выдал, я с двумя катерами, придерживаясь тени стоящих в воде деревьев, заскользил вверх по реке.

Шли, как показалось мне, невероятно долго, уже начали подумывать, а не пора ли поворачивать обратно, когда Губанов разглядел у берега что-то, похожее на катер.

Тогда, спрятав свои катера под деревьями, я высадив десант из пяти человек: приказал им как можно ближе подобраться к неизвестному катеру и осмотреть его.

Почти по грудь матросы погрузились в леденящую воду, как только спустились с катеров. И побрели абсолютно бесшумно.

Вот они уже около того катера... Один из них заглядывает в его иллюминатор... Вот они собрались в кучку, о чем-то шепчутся... Отвязывают трос от дерева, ведут катер к нам...

Подвели под самый наш борт, подняли два пальца...

Сами понимаете, было бы просто глупостью в таких условиях отказаться от случая, и мы перепрыгнули на палубу того катера, откинули люк и втроем прыгнули в кубрик. Два фашиста не успели и проснуться.

В Киев мы вернулись уже в середине апреля, прибукировав трофейный катер (к сожалению, не военный), который у нас немедленно отобрали, вооружили и передали в отряд катеров ПВО.

Зато у меня, как память о той безрассудной ночи, в кобуре оказался вполне исправный парабеллум.

И еще несколько слов о «мелочи», воспоминания о которой теперь вызывают у меня чувство неловкости.

После похода во вражеский тыл на реку Дон (1942 год) и летом 1944 года работники флотской газеты не раз обращались ко мне с просьбой написать ту или иную статью, так сказать, поделиться опытом. На все предложения я категорично отвечал, что писать не способен, что моей руке автомат значительно привычнее, чем перо.

И раза два бывало так, что ко мне присылали корреспондента, я рассказывал, а он записывал, чтобы потом сделать статью и дать ее мне на подпись.

К стыду моему, бывало и такое. Но, поверьте, тогда я искренне считал, что не способен написать что-то вразумительное.

ПЯТЬ СУТОК НЕПРЕРЫВНОГО ПОДВИГА

К моему приходу из рейса под Мозырь приказом командования база и штаб нашего дивизиона уже покинули Киев и размещались чуть пониже города в деревушке, которую одни называли Коник, а другие — Мышеловка; какое из этих названий правильное — в то время не удосужился узнать.

Чтобы попасть на базу, с Днепра мы свернули в извилистую протоку, прошли метров пятьсот и оказались в маленькой бухточке, берега которой поросли каштанами, акациями — высоченными, каких я еще не видывал, и другими такими же впечатляющими деревьями.

Среди этой благодати и стоял двухэтажный дом — мои новые владения. А когда вечером зазвенели в песнях девичьи голоса, когда по берегу заливчика начали прогуливаться улыбающиеся Наталки и Ганночки, нам с замполитом — старшим лейтенантом А. Гриденко (тем самым, который является прототипом одного из героев романа В. Рудного «Гангутцы») — и вовсе стало ясно, что если мы не примем каких-то срочных мер, не загрузим матросов настоящим делом, то нам с ним очень скоро придется барахтаться в потоке рапортов с просьбой об отправке на фронт или присутствовать на многих свадьбах.

Что рапорты с просьбой об отправке на фронт посыплются, это мы знали точно. Но в каком количестве? Дело в том, что наши матросы и раньше еле переносили вынужденное пребывание в тылу, и раньше, как только перепадала передышка, сразу же начинали одолевать нас подобными просьбами, а в эту весну сама обстановка на фронтах толкала на это.

Действительно, в прошлом, 1943 году Советская Армия разгромила немцев под Курском, освободила большую часть Украины.

Единственное, что несколько успокаивало нас, — мы в это время очищали Волгу от вражеских мин.

Потом были долгие зимние месяцы, которые мы убили на ремонт катеров и боевую подготовку.

А Советская Армия за это время развернула наступление Волховского и Ленинградского фронтов и окончательно сняла блокаду Ленинграда;

войска Украинских фронтов блестяще провели Корсунь-Шевченковскую операцию;

из района озера Ильмень перешли в наступление войска 2-го Прибалтийского фронта;

28 марта войска 2-го Украинского фронта вошли в Румынию!

Наконец, в апреле начались активные действия Советской Армии в районе Крыма и Одессы.

10 апреля была освобождена Одесса!

9 мая — Севастополь!

Согласитесь, что когда кругом творилось такое, даже самая серьезная боевая подготовка не могла удовлетворить нормального человека. А если добавить, что наши матросы к этому времени служили уже по седьмому и даже восьмому году, то и вовсе станет ясно, каково было их настроение. И сколько ты ни внушай матросу, что мы тоже не бездельничаем, что командование не забыло о нас, он смотрит на тебя исподлобья и одно твердит:

— А чем я хуже товарищей? Почему им можно врага лущить, а мне нельзя?

Еще спасибо командованию флотилии, что оно хоть один наш отряд, но держало на тралении. Однако и это было сравнительно малой радостью: ведь пока на Днепре и его притоках мы ни одной мины не обнаружили.

Правда (кажется, в конце мая), в наши сердца вкрадась надежда на перемены к лучшему, но...

Тогда телефонограммой мне с четырьмя катерами-тральщиками (но без тралов) приказали к стольким-то часам прибыть в Киев и пришвартоваться рядом с пароходом «Полина Осипенко»; особо подчеркивалось — «с полным боекомплектom».

В Киеве и узнали, что на «Полине Осипенко» делегация республики пойдет в Канев на могилу Тараса Шевченко, а мы — конвой парохода и несем полную ответственность, если он подорвется на mine или будет уничтожен ударом с воздуха.

Конечно, задание было почетным, красноречивее всяких слов говорило о том доверии, которым мы пользовались, но все равно это было вовсе не то, что в бой идти.

Весь поход мы провели образцово, по окончании его

получили благодарность, и о нем сейчас, возможно, не стоило бы даже упоминать, если бы тогда не случилось вот этого эпизода, показывающего, насколько мы были находчивы, смелы и, я бы сказал, даже нахальны.

Еще на Волге, когда нам приходилось сопровождать караваны, мы одним или даже двумя катерами обычно швартовались к ним, чтобы сэкономить горючее и хоть чуть-чуть сберечь силы личного состава. Поэтому, едва Киев скрылся за кормой, два моих катера-тральщика подошли к пароходу, намеревались закрепить на его корме свои швартовы, но какой-то товарищ в гражданском немедленно появился там и тихо, но весомо сказал:

— По инструкции не положено.

Обидно стало — слов нет, чтобы высказать — как. Обидно за нелогичность, за какое-то половинчатое доверие нам. Действительно, мои люди стояли у крупнокалиберных пулеметов, держались мы от парохода всего метрах в сорока или пятидесяти, кажется, куда уж больше доверять? А вот к корме парохода подойти не смей!

А разве не сообща, не общими усилиями мы должны были обеспечивать безопасность парохода и его пассажиров?

Случай показать, что и мы кое-какой властью облечены, представился уже вечером этого же дня.

На нашем пути попался такой красивый участок берега, что пройти мимо было просто преступлением, и пароход, конечно, подвернул к нему. И немедленно главный старшина Третьяков сказал мне, многозначительно тараща глаза:

— А если в этом лесу бандиты есть?

Подсказку я схватил с лету, и когда пароходу «Полина Осипенко» до берега оставалось метров пятьдесят, мой катер, предварительно подняв флаг, обозначающий что «ваш курс ведет к опасности», и строча в небо из пулеметов, встал между пароходом и берегом.

Пароход, разумеется, спятился к середине Днепра. А еще немного погодя кто-то в гражданском очень вежливо попросил меня подойти к борту «Полины Осипенко» и спросил, чем вызваны и пальба в воздух, и маневр катера.

Я ответил, что согласно инструкции, полученной мной, мы несем ответственность за пароход и людей, находящихся на нем, несем во время всего перехода до Ка-

нева и обратно до Киева. А почему я запретил подходить к берегу здесь... Или не видите, какой дремучий лес? Пока не прочешу его от опушки до опушки, пока не выставлю оцепление, и речи быть не может о том, чтобы пароход пристал к берегу.

На пароходе было несколько кавалеров ордена Богдана Хмельницкого, похоже, недавних командиров партизанских соединений. Они в один голос стали убеждать меня, что в этом лесу нет ни одного бандюги. Однако я упорно стоял на своем, ссылаясь на инструкцию.

Тут к товарищу, который первым начал переговоры со мной, подошел второй и прошептал что-то. Тот невозмутимо выслушал его, потом спросил, глядя мне в глаза:

— Или у нас с вами не одна задача?

— Вы решаете ее на пароходе, а я на реке и на берегу.

В ответ этот товарищ так добродушно рассмеялся, что я смутился, почувствовал себя мальчишкой, которого уличили в шалости, и с радостью и благодарностью пожал руку, протянутую мне: ведь этот товарищ, если судить по власти, которой он был наделен, мог запросто и другим способом заставить меня сделать то, что было нужно ему; я это понимал прекрасно и с самого начала нашей затеи.

Больше никто не запрещал нам швартоваться к пароходу.

Вернулись в Киев — прежние заботы вновь обрушились на меня. Чего мы с Гриденко только не придумывали, чтобы делом загрузить личный состав побольше! Кроме траления и боевой подготовки, матросы у нас баню отгрохали такую, что штабные специалисты из Киева приезжали попариться, и спортивную площадку, где стали проводить самые различные соревнования, и на субботники в Киев мы их возили, на расчистку Крещатика. Но все равно часть матросов (особенно черноморцы) просились у нас на фронт, а другие, как выразился наш доморощенный остряк, «явно потянулись к кратковременному семейному очагу».

И масла в огонь неожиданно подлил солдат, который после госпиталя прибыл домой на побывку. Встретившись с матросами, он только и сказал:

— Здорово, курошупы!

Так сказал фронтовик, и поэтому матросы смолчали, проглотили обиду. Но боль оскорбления была настоль-

ко сильна, что слово «курошуп» еще долго у нас было самым страшным: цензурным ругательством.

Борьба с теми и другими настроениями была в самом разгаре, когда пришел приказ лаконичный и ясный: дивизиону завтра на рассвете, оставив базу и штаб здесь, под Киевом, следовать на реку Березину; где явиться к начальнику штаба флотилии капитану 2-го ранга К. М. Балакиреву.

Что особенно понравилось и насторожило — в приказе не было ни слова о том, для какой цели мы перебазировемся на Березину. Да и офицер штаба, вручивший мне приказ, вдруг сказал, что переход мы должны произвести скрытно.

Чтобы рассеять последние сомнения, я прикинулся простачком и спросил:

— Маскироваться во время стоянок?

— И на переходе тоже, — ответил тот.

Точно в указанное время, взяв с собой продовольствия строго по норме и недели на две, а боезапаса — сколько могли принять, дивизион снялся со швартовых и, вытянувшись в кильватерную колонну, пошел вверх по Днепру.

Шли днем и ночью. Но стоило сигнальщикам доложить, что слышен шум моторов немецкого самолета, весь дивизион моментально притыкался к берегу, будто и не торопились мы вовсе; или по сигналу «Все вдруг!» разворачивался на обратный курс и самым малым ходом, на какой мы тольк о были способны, полз вниз по течению.

А как еще мы могли замаскировать свое движение к фронту?

19 или 20 июня мы прибыли к месту назначения, и я поспешил к капитану 2-го ранга Балакиреву. Он и вручил мне приказ, в котором говорилось, что с 21 июня наш дивизион должен стоять впереди бронекатеров Пескова и прикрывать их от плавающих мин (стояли они на огневой позиции в районе деревни Стужки).

Помнится, я удивился, почему дивизион Пескова оказался здесь, когда еще недавно стоял на Припяти. Балакирев пояснил, что командование фронта обязало флотилию артиллерийским огнем и высадкой тактических десантов способствовать наступлению вдоль Березины 105-го (правый берег) и 53-го стрелковых корпусов. Чтобы успешнее решить эту ответственную задачу, ко-

мандование Днепровской флотилии и перебросило на Березину самую боеспособную бригаду, усилив ее своим дивизионом.

И я вышел вперед двумя катерами-тральщиками (до фронта оставалось еще километра три или четыре), а все прочие катера спрятал в протоке, которая была так узка, что катера еле втиснулись в нее. Здесь никакой маскировки не требовалось: над протокой переплелись ветками дерева. И вообще это место было настолько глухим, что, отойдя от катеров метров на пять, один из матросов натолкнулся на полянку, где, похоже, с 1941 года лежали наши и вражеские солдаты, погибшие в яростной рукопашной схватке.

Мы захоронили тех и других.

Трое суток в ожидании сигнала наступления мы стояли на своей позиции. И все это время вели разведку. Не только побывали в окопах наших солдат и оттуда осмотрели передний край противника, но и посылали своих разведчиков в ближний вражеский тыл.

Данные нашей разведки и сведения, полученные от армейцев, были малоутешительными. Хотя тогда мы, разумеется, еще не знали, что фашисты для обороны Бобруйского направления в составе 9-й армии имели 12 пехотных и одну танковую дивизию и много самых различных частей усиления; тогда мы только догадывались, что враг намерен здесь стоять насмерть; это позднее, в ходе боев, мы узнали, что тут у фашистов было по пять и даже шесть линий траншей, идущих в глубину до шести — восьми километров, что перед передним краем у них много не только колючей проволоки, но и минных полей.

Все это мы узнали чуть позднее, а тогда нас больше всего интересовали Здудичи, перед которыми мы оказались, а еще точнее — река в их районе, ибо понимали, что она — наша дорога.

Так вот, Березину у села Здудичи фашисты перегородили двумя бонами, каждое из бревен которых стояло на трех самостоятельных якорях. Кроме того, каждый бон был опутан колючей проволокой, под защитой которой прятались противотанковые мины.

Еще — в обрыве правого берега фашисты соорудили дзот, через амбразуру которого на подходы к нижнему по течению бону поглядывал пулемет. И минные поля у бонов были, как на правом, так и на левом берегу.

Понимали мы и то, что подходы к бонам наверняка давно пристреляны вражескими артиллеристами и минометчиками.

Словом, было ясно, что выбить врага отсюда будет трудно. Но больше всего нас смущало, с кем мы будем наступать? Ведь в окопах на передовой почти в каждой роте было столько солдат, что ее впору взводом именовать.

Короче говоря, стояли мы в непосредственной близости от фронта, знали, что прибыли сюда для боя, но когда он произойдет и где сейчас спрячутся наши главные силы, об этом не догадывались, да и на передовой все шло до тошноты обыденно: и мы, и немцы периодически постреливали, и все тут.

Лишь однажды над нашими катерами прошел фашистский самолет-разведчик — «рама», как мы его звали. И по тому, что он не сделал над нами ни одного круга, не попытался снизиться, мы поняли: рассмотрел нас хорошо и вот-вот появятся бомбардировщики, вызванные им. Зная, чем это пахнет, мы с Песковым быстро отвели катера вниз по реке километра на два или три, где и замаскировали наспех.

Действительно, скоро появились вражеские бомбардировщики и так обработали квадрат нашей недавней стоянки, что мы в душе только радовались, что своевременно ускользнули оттуда.

Скрылись за горизонтом самолеты — мы вернулись на свои уже привычные места. Вот тут Губанов, в обязанности которого входило видеть и слышать все, и доложил:

— Товарищ комдив, они стадо коров разбомбили! С броняшек братва уже бежит туда, чтобы мясом запастись!

Мясо? Я немедленно снарядил туда и своих.

— Ага, наши уже прибежали... О чем-то говорят с теми... Никак ссорятся?! — держал меня в курсе событий Губанов.

Мои матросы ссорятся с песковцами?! Это было столь невероятно, столь противоречило нашему общему настрою, что я немедленно побежал вслед за своими, чтобы образумить их.

Черт с ним, с мясом, была бы дружба не порушена!

Прибежал как раз в тот момент, когда кто-то кого-то уже за фланелевку ухватил.

Не знаю почему, но я, помнится, только и сказал:

— И это сталинградцы? Из-за падали подраться готовы?

Скорее всего, волнуясь, не нашел нужного слова, вот и обронил — «падаль».

Только и сказал, а матросы стали уже смущенно поглядывать друг на друга, кто-то из них, брезгливо сплюнув, даже поддакнул:

— И верно... чуть не подрались...

Натянуто похохатывая, матросы перекурили и пошли на катера.

Когда матросов с бронекатеров не стало видно, я и сказал своим:

— Теперь марш за мясом!

Они какое-то время недоуменно смотрели на меня (это падаль-то брать?), потом, весело гогоча, бросились обратно.

Минут через тридцать или сорок в сопровождении своих смущенных матросов пожаловал Песков и сказал, весело улыбаясь:

— Надеюсь, поделишься? До моих только сейчас дошло, что ты их на корню купил.

Конечно, поделились по-братски. И долго вместе хохотали, вспоминая и мое внезапное для них появление, и мои слова. Особенно их воздействие. Один из матросов даже клялся, что чувствовал, как пахло тухлятиной от коровьих туш.

Этот случай еще раз подтвердил мне, что слово командира, да еще сказанное спокойно и в нужный момент, — огромная сила; значит, и произносить слова командир должен обдуманно.

А 24 июня ровно в шесть утра, одновременно с сигналом побудки, все мы услышали грохот артиллерийских залпов. Конечно, выскочили из кубриков на верхние палубы. Кто-то вскарабкался даже на сосну, которая одиноко торчала на мысочке.

Наша артиллерия ярилась и справа, и слева от нас. Весь день ярилась. Но если справа она к вечеру продвинулась на запад, то здесь, под Здудичами, 75-й гвардейской и 354-й стрелковым дивизиям не удалось сломить сопротивление врага, здесь наша артиллерия оставалась на прежних позициях.

С шести утра, вслушиваясь в грохот пушек и провожая глазами косяки наших бомбардировщиков и штурмовиков, идущих на задание или возвращающихся с не-

го, мы ждали боевого приказа. До глубокой ночи ждали. Не дождалось.

Только 25 июня под вечер, когда стало ясно, что проваливается под Здудичами и сегодняшнее наступление, командир 105-го стрелкового корпуса принял решение о высадке в ближний тыл врага тактического десанта в составе двух рот (всего около 200 человек).

К сожалению, нам на подготовку к этой операции дали только часа три, да и обещанного десанта явилась лишь половина. Пришлось его пополнить своими матросами.

Перед группой катеров, в которую входили четыре бронекатера и два катера-тральщика, командованием была поставлена задача: уничтожить вражеский бон, перегораживающий Березину, и в тылу Здудичей высадить десант, который одновременно с частями, находящимися на передовой, начнет бой за Здудичи, превращенные врагом в мощный опорный пункт.

Два катера-тральщика — далеко не дивизион, но мы — я и замполит Гриденко — решили обязательно пойти на них, чтобы увидеть своих матросов в настоящем бою, чтобы, если потребуется, помочь им (ведь так мало времени было на подготовку к операции!).

Кроме того, мне не нравился ордер, в котором мы были обязаны идти на прорыв: впереди — четыре бронекатера и лишь за ними мои два катера-тральщика; бронекатера, дескать, огнем своих пушек сокрушат дзот в обрыве берега, после чего мы и подойдем к бону, чтобы взорвать его.

Смущало меня то, что скорость наших катеров была несколько ниже, чем у броняшек. Увлечшись боем, не убегут ли они от нас?

В рубке нашего головного катера-тральщика тесновато. Кроме меня, здесь же обосновались командир катера, рулевой и командир отряда старший лейтенант П. Хименко. Поэтому усаживаюсь на своем излюбленном месте — надстройке кубрика перед рубкой.

Отсюда хороший обзор. Правда, и я у врага как на ладони, любой хороший стрелок пульей достанет. Но намного ли безопаснее в рубке, если она из фанеры и стекла?

Как я и предполагал, бронекатера, дав по дзоту несколько выстрелов, проскочили к бону, сгрудились около него.

А над рекой уже рассыпали красные звездочки немецкие ракеты. Тотчас открыли огонь вражеские артиллерийские и минометные батареи, стоявшие где-то на закрытых позициях, и на реке перед боном заплясали водяные столбы.

Бронекатера уже толпились у бона, почти перегордив реку, а мы еще только подходили к дзоту. Он молчал. Уничтожен или затаился? Скорее всего затаился: снаряды бронекатеров разметали землю, прикрывшую броневую плиту дзота; на ней ни трещинки.

До дзота оставалось метров двести, когда он хлестнул по нам из пулемета, и сразу всю палубу катера-тральщика усыпало битое стекло.

Мы огрызались как могли, но он бил по нам, бил...

Потом оборвался рокот нашего крупнокалиберного пулемета, который стоял на надстройке машинного отделения. Я оглянулся и увидел, что пулеметчик А. Степанов безжизненно висит на страхующих ремнях.

Не успел я и рта раскрыть — к пулемету встал матрос В. Серебряков.

А дзот хлещет по нам, хлещет. И мины, и снаряды врутятся вокруг.

Наконец мы проскочили дзот, казалось бы, самое время идти к бону, чтобы взорвать его, но как это сделаешь, если бронекатера не только перекрыли все подходы к нему, но еще и маневрируют, сбивая пристрелку вражеских батарей? Протаранят нас запросто или на береговую отмель выбросят.

И тогда, предварительно все же сделав несколько попыток пробиться к бону, я приказал всем катерам выйти из зоны вражеского огня.

Вышли, пристали к левому берегу где-то на середине между Здудичами и нашей прежней позицией.

Моментально к нам подошли санитарные катера, и мы бережно погрузили на них раненых. Сколько их было? Не помню. Но на том нашем катере-тральщике, на котором шел Гриденко, ранены были буквально все.

Однако я заметил, что все это не испугало, а только разозлило матросов. Поэтому сразу же приказал снова идти к бону.

Теперь два катера-тральщика пошли головными. Вот и проклятый дзот. Он, как и прежде, хлестнул по нам пулеметной очередью. Но теперь бронекатера все это видели и немедленно ударили по нему из пушек. И после

первых же снарядов захлебнулся вражеский пулемет. Мы проскользнули к первому бону почти без потерь.

Опять вокруг нас забесновались разрывы вражеских мин и снарядов, опять их осколки впивались в наши борта, дырявили рубки. Но мы подошли к бону вплотную. И вот матрос Серебряков скользнул с катера в реку, осторожно снял с бона первую противотанковую мину...

До полного разминирования бона было еще далеко, когда я заметил кровь на плече Серебрякова и крикнул, чтобы он вернулся на катер. Он не захотел услышать меня и довел опасную работу до конца.

Между прочим, родоначальником этого «не слышу вас» был мой командир отряда катеров-тральщиков старший лейтенант Хименко. Это он, находясь на боевом тралении, умудрился утопить трал и до тех пор, пока не достал его, неизменно на все мои вопросы о сроках окончания работы отвечал: «Что? Что? Вот, черт, опять связи нет!»

Только мы разорвали вражеский бон, только чуть посторонились, мимо нас пронеслись катера с десантом, а еще немного погодя «ура» зазвучало и восточнее, и западнее Здудичей: пехота с фронта, наши десантники — с запада одновременно начали наступление.

Около трех часов боевые действия развивались благополучно для нас, и вдруг радист доложил, что меня к радию вызывают десантники. Конечно, сразу же схватил наушники.

Писк морзянки, вопли немецких наблюдателей и корректировщиков заполняли эфир, делали его, казалось, осязаемым. В этом гаме еле разыскал голос, зовущий меня, спросил, в чем дело.

— Фашисты отходят прямо на нас. Их так много, что мы окружены.

И сразу вспомнился Ленинградский фронт, вспомнились слова Куликова: «Не они нас окружили, а мы заняли круговую оборону».

Чем мы могли помочь десантникам? Единственное — высадить еще один десант. Но где взять людей? Снять матросов с катеров я не мог: там их оставалось только-только.

Я уже собрал всех писарей и баталеров, когда явился армейский старший лейтенант и доложил, что с батальоном прибыл в мое распоряжение.

Силами этого батальона, чуть пополненного опять же

моими матросами, мы и поспешили на помощь десантникам. И пробились к ним. Первый, кого я увидел, был Саша Колысов. Похудевший за эти несколько часов, с окровавленной повязкой на лбу, он доложил, что от всего взвода осталось лишь семь человек, но они готовы идти туда, куда нужно.

И тут я вспомнил, что этим взводом командовал младший лейтенант П. Конечно. Спросил, где он.

— Там, — пренебрежительно мотнул Саша головой в сторону кустов.

Рука мертвого П. сжимала пистолет. Застрелился?

Это было так невероятно, что я какое-то время просто не мог поверить своим глазам. А потом вдруг почувствовал, что нет во мне обычного в таких случаях почтения к мертвому. Еще не понял, почему это случилось, кто-то зади прошипел:

— Пустьышка!

Оглянулся и встретился глазами со старшим матросом Н. Юшковым. Тот спокойно выдержал мой взгляд.

Я чувствовал, что было что-то справедливое в том слове, которое он сказал. Но бой еще продолжался, разговаривать было некогда, и, приняв на борт то, что осталось от десанта, мы вновь полным ходом пошли вверх по Березине.

Во время этого перехода я и узнал, что отступавшие фашисты отсекли взвод П. от главных сил десанта, обтекали его со всех сторон, казалось — вот-вот раздавят своей массой. Вот тогда, испугавшись возможного пленения, и застрелился П.

Тут же я и спросил у Юшкова, почему он сказал то слово.

— А как его иначе назовешь? — пожал плечами Юшков. — Что фашисту прежде всего надо? Убить нас. Всех или как можно больше. Значит, наша задача — обязательно выжить. А этот...

В душе я был согласен с Юшковым, но все же подумал: «Тоже мне, философ нашелся! Посмотрим, если тебя прижмет, что запоешь!»

Было это на рассвете 26 июня. А еще часа через два или чуть побольше мы вступили в бой на подходах к Паричам, где по мосту сплошным потоком шли немецкие войска, еще не потерявшие надежды оторваться от преследования.

Катера-тральщики со своими крупнокалиберными пу-

леметами, конечно, не могли долго вести бой с танками, врытыми в землю по самую башню; поэтому мы сразу же отошли, уступив фарватер бронекатерам Пескова.

С этого момента и началось: отряд за отрядом мы посылали в бой, чтобы одни катера сковывали боем вражеские танки и штурмовые орудия, а другие всячески препятствовали переправе врага на правый берег Березины. Тяжело, невероятно тяжело нам было в этом бою. И прежде всего потому, что 193-я и 96-я стрелковые дивизии, которым предписывалось идти берегом Березины, вынуждены были отклониться от намеченного маршрута.

Была нами предпринята и попытка захвата моста, но она закончилась неудачей: слишком малочислен был наш десант, слишком много вражеских солдат рвалось на правый берег.

Однако десант все же помог нам, так как усилил и без того основательную панику, царившую в фашистских войсках, и самое главное — десантники обнаружили и перерезали провода, которые шли к зарядам взрывчатки, укрепленным на сваях моста.

Правда, когда мы с помощью армейской артиллерии и авиации сбили вражескую танковую засаду в районе Бельчо и главными силами своими (а не каким-то одним отрядом) вышли к мосту, фашисты все-таки взорвали его, но только один пролет.

Паричи, когда мы вошли в них, горели во многих местах. Пожары тушила наша пехота, которая все же умудрилась опередить нас.

Не успели мы осмотреться, только и радости — наши чурку для газогенераторных катеров-тральщиков, — получили приказ: «Вперед!»

По реке, отражавшей на своей поверхности зарева многих пожаров, мы подошли к мосту, разминировали его, очистили от бревен фарватер и ушли в непроглядную ночь.

Ни огонька, ни вскрика человеческого. Будто вообще одни мы на этой реке.

Но враг где-то здесь. Может быть, именно в эту минуту он и берет на прицел меня?

И вдруг Губанов наклоняется ко мне и шепчет:

— Там (показывает глазами на мысочек, к которому мы приближаемся) вроде мелькнул кто-то.

— Дай ракету!

В ее мертвенно-белом свете мы увидели человек два-

дцать в гражданском; ракета осветила их в тот момент, когда они намеревались скрыться в зарослях кустов.

А еще через несколько минут я и Гриденко стояли в плотном кольце женщин, детей и стариков. И что меня больше всего поразило: никто из этих людей не подошел к нам на расстояние вытянутой руки, ни на одном лице не было радости — только ожидание, настороженность.

Но вот из толпы выступил старик и спросил:

— Извиняюсь, конечно, а кто вы такие будете?

— Как кто? Не видишь, что ли, что советские? — удивился я.

— Оно, конечно, вижу, — согласился старик; помолчал и — снова вопрос: — Только откуда советским кораблям взяться, если они все перетоплены еще в сорок первом?

Мои матросы возмущенно зашумели, заговорили разом:

— А форма-то, форма?

— На флаг взгляни!

— Черта с два нас утопишь!

— Хочешь, документы покажем?

Когда стих гневный ропот, старик помялся-помялся и сказал:

— Форма, она, конечно... И флаг тоже... Или документы подделать нельзя? Герман, он и не такое отчебучивал...

Выручил Гриденко: он достал из кармана кителя партийный билет и протянул его старику. Тот долго рассматривал и сам билет, и фотографию на нем, потом отступил на шаг и вдруг грохнулся нам в ноги. Что тут началось! Нас и обнимали и целовали. И угощали полусырой картошкой, приговаривая:

— Вам, сыночки, еще воевать и воевать, а мы уже почти дома! И пусть герман спалил деревеньку, но не пропадем же мы на родной земле да еще при нашей Советской власти!

Ночь словно светлее стала после этой короткой, но такой впечатляющей встречи.

А на рассвете, когда над Березиной еще плыли клочья тумана, мы увидели фашистов. Они переправлялись на правый берег. И мы из пулеметов открыли по ним огонь, своими форштевнями и бортами крушили их лодки и самодельные плотки.

Сначала все было — лучше не надо, а потом фашисты опомнились и открыли ответный огонь. Теперь я мог принять только одно решение из двух: отойти и дожидаться бронекатеров или вести бой самому.

Почти час мы одни, то отступая, то снова яростно бросаясь вперед, мешали вражеской переправе.

Наконец, когда начало казаться, что еще немного — и мы отступим по-настоящему, появились бронекатера Пескова. На полном ходу вылетели из-за поворота Березины и сразу же ударили из всех пушек и пулеметов.

Минут через пять — десять оба берега опустели. Только из леса какое-то время еще слышался треск сучьев.

И только теперь мы смогли оказать настоящую помощь своим раненым. Я с тревогой и грустью вынужден был заметить, что еще два катера-тральщика надолго вышли из строя, что, пожалуй, лишь в Киеве их и удасться отремонтировать.

Тут я и увидел Юшкова. Все матросы приводили в порядок свои катера, а он лежал у пулемета и, похоже, не собирался спускаться на палубу. Это удивило, даже рассердило, и я сказал:

— Ишь, разлегся, как на пляже. Товарищи работают, а ты сачкуешь?

— А почему бы и не сачкануть, если есть такая возможность? — как-то невесело отшутился он.

Я отнес Юшкова на санитарный катер, уже зная, что еще в самом начале боя он был ранен в обе ноги, но скрыл это от товарищей и командира катера-тральщика.

Невольно подумалось, что он имел полное право называть того самоубийцу пустышкой.

Между прочим, у нас было самым обыденным явлением, что раненые, если для этого была хоть малейшая возможность, до конца боя оставались на своих боевых постах. Например, еще во время боя под Здудичами, где у меня была полностью выведена из строя команда катера-тральщика, ни один человек не покинул своего места. А ведь у командира катера-тральщика старшины 1-й статьи Поперовника была перебита нога, а рулевой Абрамов стоял у штурвала с пробитой осколком грудью.

Пополнили мы запасы топлива, приняли боезапас — и снова вперед. Но теперь перед нами стояла ответственная задача: в возможно кратчайший срок в районе Стаевка — Половец переправить на правый берег Березины 48-ю армию, столь необходимую нашему командованию

для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг Бобруйской группировки врага.

Я был разочарован, когда прибыл в указанное место и увидел там нашу пехоту: ни строя вроде бы, ни подобия военной дисциплины; просто толпа людей, каждый из которых занимался тем, чем ему хотелось. И купались, и белье стирали.

Много солдат было на берегу, но из леса ежеминутно вываливались все новые и новые группы и одиночки. Они приходили, шагая вольно, широко, или приезжали на мотоциклах, велосипедах и толстозадых немецких лошадях.

Но едва раздалась первая команда, эти толпы распались на группы, в которых можно было безошибочно угадать отделения, взводы, роты и даже батальоны.

С 27 по 29 июня — даже обедая и отдыхая поочередно — корабли Днепровской флотилии переправляли их на правый берег Березины. Итог нашей работы — 66 тысяч солдат и офицеров, 1500 орудий и минометов, 500 автомашин и табун лошадей в 7 тысяч голов — вот то, что нам удалось переправить через Березину. Иными словами, благодаря активной помощи Днепровской флотилии на правом берегу неожиданно для немцев появилась 48-я армия.

Именно вот эта переправа наших войск, как мне кажется, и является главной заслугой Днепровской военной флотилии в период Бобруйской операции.

Справиться с этой сложной задачей нам удалось и потому, что солдаты были не просто пассажирами, но и добровольными и очень добросовестными помощниками: делали причальные мостки, грузили на катера технику и даже в лагерь самостоятельно переправлялись на тот берег Березины, сложив на наши палубы все нехитрое свое имущество.

Лишь однажды, когда мы начали два катера-тральщика пришвартовывать друг к другу, чтобы перевезти пушки, командир переправляющейся дивизии спросил:

— А не утопите?

Главный старшина Третьяков, оскорбленный этим вопросом до глубины души, только глянул на полковника и отвернулся. Ответил командиру дивизии его же солдат:

— Так они же сталинградцы!

И полковник сразу заулыбался, отошел в сторону.

Лишь глубокой ночью 28 июня мы кончили переправлять 48-ю армию и сразу же, как того требовал боевой приказ, полным ходом пошли к Бобруйску, где в то время еще добивали врага, оказавшегося в кольце советских войск.

Четверо суток мгновением мелькнули с того часа, как началось наше наступление. И все время мне не удавалось вздремнуть хоть сколько-то обстоятельно, поэтому я прилег в матросском кубрике, строжайше наказав будить меня при первой необходимости.

В то время фашистского фронта, как такового, здесь уже не существовало. Но в лесах и болотах еще бродило предостаточно вражеских солдат. Многие из них выходили на дороги, раскисшие после недавних двухнедельных дождей, или на берега реки, чтобы сдать. Но ведь были и такие, которые все еще мечтали вырваться из нашего кольца. От этих можно было ожидать чего угодно. Поэтому, ложась спать, и приказал будить, если возникнет хоть малейшая угроза.

Проснулся от яркого солнца, лучи которого резвились в кубрике, и прежде всего услышал невероятную тишину. Конечно, немедленно выскочил на верхнюю палубу, огляделся.

Мы — и мой, и Пескова катера — стояли у берега, зачехлив пушки и пулеметы. А берег в полном смысле этого слова кишел пленными. Однако матросы и солдаты расположившейся рядом с нами части словно не замечали их: чинили одежду и обувь, стирали белье, брились, купались и просто зубоскалили. Будто и не было недавних кровопролитных боев, будто и не предвиделось их в ближайшем будущем.

Я понял, что Бобруйская операция успешно завершена. А уже утром был и приказ Верховного Главнокомандующего, в котором прозвучали фамилии и капитана 1-го ранга Лялько, и капитана 3-го ранга Пескова. Больше того, Верховный Главнокомандующий приказал 1-й бригаде кораблей Днепровской флотилии впредь именоваться «Бобруйской».

С радостью и некоторой тревогой мы с Гриденко восприняли этот приказ: радовались за товарищей, а волновались за своих матросов, боялись, что не все они правильно поймут, почему наш дивизион оказался без слов благодарности за ратное мужество, проявленное в недавних боях. К счастью, все обошлось. А еще через день или

два, для экономии горючего ошвартовавшись попарно с катерами Пескова, мы пошли теперь уже вниз по Березине.

Конечно, останавливались у всех наших братских могил, конечно, подправили их и дали салюты, которых не было в момент похорон.

Шли и гадали, куда теперь пошлет нас командование? В Киев на отдых или на Припять, где, если верить слухам, доходившим до нас, уже 27 июня вступила в бой 2-я бригада кораблей Днепровской флотилии (командир бригады капитан 2-го ранга В. М. Митин).

Лично я верил и не верил этому, так как знал, что она в то время только и имела:

1-й дивизион бронекатеров — 4 катера,

4-й дивизион катеров-тральщиков — 5 катеров,

отряд полуглиссеров — 12 катеров и

в оперативном подчинении плавучую батарею № 1220, 292-й отдельный зенитный дивизион и отряд десантников, которым командовал младший лейтенант Н. П. Чалый.

Сами понимаете, до наступления ли тут, если бригада находилась еще в стадии формирования?

Однако, когда мы были еще на Березине, получили распоряжение следовать на Припять. Итак, все стало ясно.

МЫ СТАНОВИМСЯ «ПИНСКИМИ»

На Припяти в то время перед нашей 61-й армией стояла 2-я немецкая, в состав которой входили 22-й и 23-й пехотные корпуса с самыми различными средствами усиления. За месяцы нахождения в обороне фашисты создали здесь мощную полосу укреплений, приспособив для круговой обороны Петриково, Дорошевичи, Туров, Давид-Городок и другие населенные пункты.

Короче говоря, мы понимали, что на Припяти нам придется тоже основательно поработать.

Шли мы теперь уже полным ходом, но все равно к боям за Лунинец (9 июля) запоздали, пришли к вечеру этого же дня в район Качановиче — Березце. Здесь до нашего сведения и довели, что мы с 415-й стрелковой дивизией пойдем на Пинск вдоль Припяти, а 2-я бригада свернет на Ясельду, где будет взаимодействовать с 397-й стрелковой дивизией.

До 11 июля мы знакомились с обстановкой, осваивались на местности. Самое неприятное, что установили, — Припять здесь была все-таки мелковата и узковата для нас. Невольно вспомнились Волга и Днепр, где мы могли маневрировать в любую сторону и без оглядки. А тут, чтобы повернуть на обратный курс, частенько нам приходилось упираться носом в берег и основательно молотить винтом по воде, чтобы забросить корму катера туда, куда нам нужно было.

На отдельных перекатах глубина была так мала, что мы теряли скорость: винты выбрасывали из-под днища воду, и нас как бы присасывало к дну реки.

Иными словами, предстояло не плавание, а одно мучение.

Зато нас обрадовало то, что 2-я бригада уже хорошо зарекомендовала себя. Особенно дивизион бронекатеров, которым командовал капитан-лейтенант Михайлов, и отряд десантников младшего лейтенанта Чалого. Они успешно действовали в боях под Скрыгаловом, Петриковом и Лунином. Правда, не обошлось и без промашек, но кто застрахован от них?

11 июля меня ознакомили и с приказом командования 61-й армии, в котором говорилось, что главный удар по Пинску она наносит своим правым флангом силами четырех стрелковых дивизий, которым предписывается обойти город с севера и действовать вдоль железной и шоссейной дорог;

9-му гвардейскому стрелковому корпусу обойти Пинск с юго-запада;

415-й стрелковой дивизии идти на Пинск вдоль Припяти, имея в оперативном подчинении 1-ю бригаду речных кораблей Днепровской флотилии.

Теперь окончательно стало ясно, что нам штурмовать Пинск. Из рассказов старых днепровцев я знал, что этот город стоит на сравнительно приподнятом берегу реки Пины, что несколько его соборов видны на многие километры. Невольно подумалось, что ведь и с них примерно такая же видимость?

А тут еще и армейские разведчики сообщили, что по северному берегу Пины ими обнаружено семь железобетонных дотов и множество минных полей. К сожалению, все это оказалось правдой: и семь дотов было, и после освобождения Пинска саперами было извлечено 49 900 мин и 397 фугасов!

Кроме того, в тот момент от фронта до Пинска было около 80 километров.

Надеюсь, вам, читатели, ясно, какой сложности задача стояла перед нами?

Около полуночи мы приняли первый эшелон десанта и, стараясь как можно меньше шуметь моторами, начали свой рейд, а в 2 часа 45 минут 12 июля приткнулись к берегу уже в Пинске. Город спал. Нас не ждали (еще бы: вечером фронт был в 80 километрах от города!), и без единого выстрела мы высадили десант.

Поверьте, это очень неприятно, когда твои десантники словно тают среди темных и молчаливых городских кварталов. Невольно самое разное лезет в голову. И что особенно неприятно — нет ясности, не знаешь, открывать тебе огонь (да и по кому открывать, если врага не видишь?) или нет, стоять здесь или скорее бежать обратно, теперь уже за главными силами десанта.

Наконец где-то прозвучал первый выстрел, а немного погодя десантники привели на берег группу пленных и сказали, что многих из них взяли с постели.

Стало ясно, что сейчас очень многое зависит от того, как быстро будут высажены в Пинск главные силы десанта, и мы, приняв на катера пленных, поспешили обратно.

Однако, кажется, на десятом километре от города мы увидели катер ПВО, сиротливо торчавший у берега. Конечно, подошли к нему и узнали, что он загружен боеприпасами, шел вместе с нами, но мотор вдруг отказал, вот и стоит.

А в городе уже всюду ярились автоматы и пулеметы. И мы пришвартовали катер ПВО себе под борт, повели в Пинск: разве можно оставлять десантников без патронов, гранат и бутылок с самовоспламеняющейся жидкостью?

Теперь, только мы вошли в Пину, по нам ударили из пулеметов и даже автоматов. Однако нам посчастливилось, и без потерь в личном составе мы дошли до берега, разгрузились. И тут нас, как мишень, облюбовал один из дотов. Моментально повышелкал все иллюминаторы, продырявил рубку и борта. Катер ПВО не пострадал: мы прикрывали его собой.

Но вот катер-тральщик стал разворачиваться. Теперь тот катер, которого мы прибуксировали в Пинск, оказался открытым пулям. И сразу же взревел его мотор!

Катер ПВО так неожиданно превратился в активного помощника, что наш рулевой на мгновение замешкался с перекладкой руля. Этого оказалось достаточно для того, чтобы наш катер-тральщик выбросился на мель.

Посадка на мель, да еще под огнем врага, — дело, чреватое печальными последствиями. Но я не испугался, так как верил, что с помощью катера ПВО мы быстро выправим положение. Однако тот совершил величайшую подлость: обнаружив, что вытолкнул нас на мель, он отрубил швартовы и еще через несколько секунд юркнул в Припять, резво побежал прочь от Пинска.

Мы попробовали собственной машиной сняться с мели, дали полный ход назад и поиграли рулем, но катер даже не шевельнулся. Тогда я приказал побросать в воду все, без чего мы временно могли обойтись. Теперь катер чуть шевельнулся. Это уже обнадеживало, и мы все (даже те, кто был легко ранен) попрыгали в реку, облепили свою «коробочку» со всех сторон, подперли плечами. Она дрогнула, пошла!

Естественным желанием было поскорее подняться на его палубу, но первый из матросов, поступивший так, мгновенно оказался почти пополам разрезанным пулеметной очередью.

Оставалось одно: ухватиться за основания леерных стоек, привальный брус или что-то другое и буксироваться за катером, пока он не выйдет из зоны огня. И метров сто или двести мы буксировались. Нахлебались воды, пальцы скрючило от напряжения, но зато все остались целы.

Если бы в тот момент рядом оказался виновник наших бед, мы запросто могли бы пристрелить его.

С нами в этом походе был инструктор политотдела флотилии. Он заверил, что обо всем случившемся обязательно доложит командованию и мерзавец получит по заслугам. А раз так, то есть ли нам резон пятнать свою боевую славу?

За все годы войны на моей памяти это единственный случай, когда меня в беде бросил товарищ.

Когда мы, взбешенные предательством командира катера ПВО, шли вниз по Припяти, я все время ждал, что вот-вот навстречу нам покажутся катера с главными силами десанта. Но мы застали их на месте сбора — в районе Терebin — Лемешевиче. Оказалось, что командир 415-й дивизии, отправив нас в Пинск с первым эшелоном

десанта, вдруг отказался от высадки главных его сил и приказал дивизии в пешем порядке двигаться в город.

Это решение было настолько абсурдным, что мы не находили слов, чтобы выразить свое возмущение.

Как и следовало ожидать, 415-я дивизия не дошла до Пинска, застряла в болотах и лесах. Но время, удачное для высадки главных сил десанта, было безвозвратно утеряно. Только в одиннадцатом часу мы приняли «поскребыши» — 450 человек, и пошли с ними в Пинск.

Едва миновали землечерпалку, затопленную на Припяти километрах в двух или трех от города, — фашисты открыли по нам плотный минометный огонь. А на подходах к Пинску мы попали под выстрелы танков и штурмовых орудий. От их огня потеряли и катера, и многих товарищей. Так, именно во время этого рейса погиб старший лейтенант В. М. Загинайло — один из тех лейтенантов, с которыми я прибыл в Сталинград. Здесь же смерть почти одновременно подкосила и механика бронекатеров Г. Ольховского и его сына Олега, того самого, который уже значительно позднее стал прообразом Вити Орехова — главного героя моей повести «Есть так держать!»

Но особенно врезался мне в память подвиг комендоров Набиюла Насырова и Героя Советского Союза Алексея Куликова. Бронекатер № 92, расчетом носовой орудийной башни которого они являлись, был полузатоплен гитлеровцами. И все равно Насыров и Куликов вели огонь по врагу, бились с ним до последнего снаряда!

В этом же бою отличился и моторист одного из моих катеров-тральщиков В. Лисичкин. Выгрузка была в полном разгаре, когда загорелись ящики с минами, лежавшие на корме. Первым заметил это Лисичкин, первым и подбежал к ним, стал скидывать в реку.

И дважды ранен был, и основательно обгорел. Казалось, был так изувечен, что я не поверил в его возвращение в строй. Поэтому и сказал ему в момент погрузки на санитарный катер, сказал исключительно для того, чтобы подбодрить:

— Поправляйся и сразу же к нам. Договорились?

Он был настолько слаб, что смог лишь кивнуть.

Да, многих товарищей мы потеряли во время своего второго рейса...

А первый эшелон десанта уже бился за Пинск. Враг во что бы то ни стало хотел уничтожить их. Только за

первый день боев за город он атаковал двенадцать раз!

Среди десантников, стоявших в Пинске насмерть, был и пермяк Михаил Петрович Пономарев — десантник из отряда младшего лейтенанта Чалого.

За все время совместной службы в Днепровской флотилии мы встретились с ним только раз. Да и разговаривали недолго. Но из поля зрения я не выпускал его и очень гордился тем, что слышал о нем только хорошее (знай наших!).

Так, в районе Скрыгалово матросы Пономарев и Тупицын с армейским разведчиком лейтенантом Мальцевым получили приказ взять «языка».

Благополучно прошли по вражескому минному полю, подползли к окопам. Полежали, прислушиваясь и всматриваясь в ночь. Потом лейтенант Мальцев уловил в окне какое-то шевеление, заглянул туда и увидел двух вражеских солдат.

Чуть побольше минуты потребовалось разведчикам, чтобы прикончить одного, а второго спеленать.

С невероятной легкостью разведчики с «языком» добрались и до прохода во вражеском минном поле, а тут...

На войне случалось всякое, порой такое невероятное, что диву даешься. Вот и в этот раз... наша разведка столкнулась с вражеской! Сразу ночную тишину разорвали очереди автоматов, а чуть позднее зарокотали пулеметы, начали рваться мины. Одна из них сразу же накрыла и лейтенанта Мальцева, и «языка».

Конечно, самым логичным в создавшейся обстановке было бы побыстрее оторваться от врага и поспешить к нашим окопам. А Пономарев с Тупицыным навалились на вражеского разведчика, который под руку подвернулся, сграбастали его так сноровисто, что остальные фашисты ничего не заметили.

Насколько хорош был этот «язык», сколько ценных сведений он дал, можно судить хотя бы по тому, что он оказался... обер-лейтенантом и командиром разведки!

Последнее, разумеется, случайность. Но сам захват «языка» в таких невероятно трудных условиях — факт, который дает возможность с уверенностью заявить, что у Пономарева и его напарника были по-настоящему железные нервы, что на первом плане у этих парней всегда стоял сыновний долг перед Родиной — долг воина.

В Пинске Пономарев со своим отделением был почти в центре города, когда гитлеровцы наконец-то опомни-

лись, стали оказывать яростное сопротивление. Из опыта прошлых боев он знал, что, накопив силы, враг будет обязательно атаковать; поэтому и приказал занять круговую оборону.

Двое суток отделение Пономарева удерживало свои позиции!

Больше того, в течение этих двух суток он лично уничтожил дзот, у которого было четыре амбразуры, две пулеметные точки и около десяти фашистов.

За эти двое суток мы неоднократно ходили в Пинск, чтобы «подкормить» десантников патронами и людьми. Но в большинстве случаев огонь врага был так плотен и прицелен, что мы разгружались в Припяти; отсюда вплавь пополнение перебиралось в город.

А утром 14 июля, когда армейским дивизиям все же удалось нависнуть над Пинском с севера, враг начал поспешный отход, и мы прорвались в город, думали — в последний раз под огнем вошли в него. Но едва вернулись — ко мне подбежал армейский лейтенант и чуть не плача сказал, что бойцов с минометами мы недавно увезли в Пинск, а его с минами почему-то забыли.

Чтобы доставить в Пинск этого незадачливого лейтенанта с его грузом, достаточно было и одного катера-тральщика; поэтому я глядел на командиров катеров, толпившихся рядом: нет ли добровольца?

Командиры не прятали от меня глаз. Однако ни один из них не изъявил желания еще раз сходить в город. Тогда я понял, почему этот лейтенант вызывает у меня такое раздражение: заканчивался последний бой за Пинск, мы свое уже сделали, считали, что теперь-то обязательно пойдем на отдых, и вдруг кому-то одному (!) из нас, командиров, снова испытывать свою судьбу, снова идти под мины и пули врага.

Конечно, можно было посмотреть в глаза любого и сказать: «Ты!». Но я повернулся к своему замполиту старшему лейтенанту Гриденко и спросил как можно беспечнее:

— Может, Леша, сами прогуляемся?

До Пинска дошли — враг не сделал по нам ни одного выстрела. Зато только стали разгружаться — рядом с катером-тральщиком рванула первая мина, и пошло-поехало! Однако мои матросы и солдаты, прибежавшие на помощь, будто не замечали разрывов мин, работали в темпе, и скоро последний ящик перекочевал на берег.

Немедленно мы снялись со швартовых. Помню, я стоял перед рубкой и радовался, что никто из моих людей сегодня не пострадал.

А разрывы мин сопровождали нас. Но все то с перелетом, то с недолетом.

Вот и землечерпалка. Миновать ее — и опасность окажется позади...

Эта мина оглушительно рванула в ковше землечерпалки. Сразу же что-то ударило меня в правое бедро. По ноге заструилась кровь. Выждав немного, я осторожно ступил на раненую ногу, убедился, что не перебита. Это обрадовало.

Кровь из раны шла так обильно, что начала кружиться голова. Чувствовал, надо бы лечь или сесть, но продолжал стоять: боялся потерять равновесие и свалиться за борт.

Остался за кормой разрыв последней мины — из рубки выскочил Гриденко и затараторил:

— А все-таки хреновые они стрелки! Не могли попасть в нас, когда мы стояли на выгрузке!.. А вы, товарищ капитан-лейтенант, счастливый: над самой вашей головой осколок продырявил рубку. Ударь он сантиметра на три ниже — и...

— Леша, помоги мне сесть, я ранен, — попросил я.

Меня уложили на матрац, который вытащили из кубрика, перетянули ногу жгутом. И начался мой путь в госпиталь. Шли мы мимо уже отвоевавшихся катеров — моих и песковских, — и отовсюду кричали товарищи, желали скорейшего выздоровления. А два катера-тральщика как почетный эскорт даже пошли за нами.

Не знаю, сколько всего раненых было у нас за время боев за Пинск. Думается, порядочно: в тот день, когда меня привезли в госпиталь, здесь все операции вынужденно делались без применения обезболивающих средств. Не было сделано исключения и для меня.

Потом меня положили в сарай, именовавшийся «офицерской палатой». Конечно, временно положили, только до прихода санитарных катеров, которые должны были всех нас доставить в тыловой госпиталь.

Лежал я и размышлял о том, что было бы вовсе замечательно, если бы меня куда-то увозили от родного дивизиона. И вдруг в дверь сарая проскользнули два матроса с катера № 120, огляделись, нашли меня и зашептали:

— А мы для вас кубрик освободили. Сейчас теплынь, на палубе переспим, а вы — в кубрике! Красота?

Меня тронуло, что наши желания совпали. Матросы исчезли, пообещав скоро вернуться.

А еще немного погодя где-то в стороне от нашего сарая начался такой тарарам, такой гвалт, что сначала невольно подумалось: а не фашисты ли напали? Одно сразу же успокоило: стрельбы и взрывов гранат не было.

На этот шум, разумеется, убежала даже медицинская сестра, дежурившая в нашей «палате». Убежала она — немедленно с носилками явились матросы, под добродушный и сочувственный смешок положили меня на них и задворками, крадучись, понесли к реке, где, конечно же, стояли катера-тральщики. Теперь уже не три, а весь дивизион.

И все-таки нас заметили! Именно в тот момент, когда еще мгновение — и я исчез бы в матросском кубрике. Налетели сестры, врачи. Даже начальник госпиталя прибежал. Сразу же раскричался, дескать, что за самоуправство? Кто позволил взять раненого из палаты? Ведь здесь за ним уход и догляд!

Только не таковскими были мои матросы, чтобы их испугал чей-то рык. Они довольно-таки вежливо стали доказывать, что в госпитале за мной догляд, конечно, хороший, да куда ему до того, какой будет на катер-тральщике.

Но окончательно они сразили начальника госпиталя тем, что кто-то показал ему «судно» и «утку», показал как доказательство того, что они намерены всерьез ухаживать за мной.

Сначала тот опешил, увидев в руках матросов свое инвентарное имущество, потом расхохотался, только и спросил:

— И когда вы все это украсть успели?

Ответил ему Тимофей Р.:

— Не переживайте, все вернем в целости, как только надобность отпадет.

Теперь захохотали уже все. И медперсонал госпиталя, и матросы с бронекатеров, добровольно вызвавшиеся помочь моим в осуществлении задумки.

Лежа в кубрике катера № 120, я и выслушал приказ Верховного Главнокомандующего о благодарности войскам, освободившим Пинск. Даже вздрогнул, когда среди прочих фамилий Левитан вдруг назвал и мою. Но до

тех пор плохо верил услышанному, пока не увидел в газетах этот приказ.

Признаюсь: я вырезал из газеты этот приказ и до последнего дня войны носил его в нагрудном кармане кителя. Казалось, тайком от матросов вырезал, но уже скоро понял, что это для них не тайна: в перерывах между боями они частенько просили меня вновь показать им тот приказ. И каждый раз читали его от первого до последнего слова.

Я глубоко убежден, что поступали они так не только из желания еще раз подарить мне несколько приятных минут; убежден, им было просто приятно от сознания того, что фамилия их командира значится в таком важном документе, каким являлся приказ Верховного Главнокомандующего.

Но, пожалуй, еще больше был рад тому, что теперь не забыли наш дивизион, хотя он не принадлежал ни 1-й, ни 2-й бригадам: ему, как и частям 2-й бригады, присвоили наименование «Пинский».

Может быть, неделю или чуть больше я пролежал в кубрике катера-тральщика, и начальство не знало, что я скрываюсь здесь. Потом кто-то из матросов все же проболтался, и тогда оно нагрянуло, вручило мне сразу два ордена — Красного Знамени и Красной Звезды — и приказало завтра же на катере № 120 отправиться под Киев, на свою базу.

Многие из нас за те бои были награждены орденами и медалями, а пермяк М. П. Пономарев, о котором я рассказывал, стал даже Героем Советского Союза.

ДО БЕРЛИНА — РУКОЙ ПОДАТЬ

Итак, долечивали мою рану в деревне Коник (Мышеловка), где еще недавно была база моего дивизиона. Теперь здесь я не видел ни одного матроса: все вместе с базой ушли на Припять. Не о ком стало заботиться, нечем распорядиться, вот я и думал — прежде всего, разумеется, о недавних боях. Как бы заново участвовал в каждом из них.

К сожалению, пришел к выводу, что кое-где мы срабатывали не так четко и мощно, как могли и должны были. И прежде всего потому, что не были лично знакомы с командирами армейских соединений, не знаю, по чьей

вине, но разговаривали с ними только при помощи бумажек. В результате под Здудичами командир 105-го стрелкового корпуса на целые сутки задержал начало совместной с нами операции; под Пинском командир 415-й стрелковой дивизии, тоже не веря в наши возможности, увел своих солдат берегом, то есть подарил противнику несколько часов, что привело к излишним человеческим жертвам с нашей стороны; а дивизион бронекатеров 2-й бригады, которым тогда командовал капитан-лейтенант Михайлов, только из-за того, что не было настоящей связи, нанес урон батарее той самой стрелковой дивизии, в помощь которой был занаряжен.

Понимаю, не совсем этично сейчас говорить о наших ошибках, но, как говорится, правда дороже всего. А ошибки, к сожалению, были, хотя Днепровская флотилия в боях находилась только около месяца.

Невольно вспомнился Сталинград. Там у нас с армейцами были деловые контакты и доверие. Да и не мудрено: не только командование Волжской военной флотилии, но и мы — «мелкая сошка» — неоднократно в процессе боев встречались и беседовали как с самим генералом В. И. Чуйковым, так и с его ближайшими боевыми помощниками всех рангов. Этих военачальников мы знали по-настоящему, с ними мы были знакомы лично.

А вот тех, с кем на Березине и Припяти еще недавно воевали рядом и решали одни и те же задачи, и в глаза не видывали.

Может быть, личное знакомство с нами подорвало бы их авторитет? Ничего подобного! Генерал К. К. Рокоссовский в октябре 1942 года, например, нашел время для того, чтобы встретиться с моим отрядом. Обрисовал обстановку в полосе своего фронта, даже пошутил. Честное слово, после этого и задачи, стоявшие перед его фронтом, и сам он стали для всех нас ближе во много раз.

Или взять генерала Н. Ф. Ватутина. Нет, я не бывал у него в оперативном подчинении, нас однажды свел случай. Но как внимателен он, генерал и командующий фронтом, был ко мне, вернее, к нуждам моего дивизиона!

Случилось это вскоре после того, как я прибыл на Днепр и принял дивизион. Тогда мне срочно потребовались грузовые машины. Начальник тыла флотилии не

смог выделить, он просто посоветовал мне «проявить морскую инициативу». Безрезультатно сунувшись к нескольким армейским начальникам, я направился прямо к генералу Ватутину. Действовал так напористо, что прорвался, засел в его приемной, где уже были два или три генерала и еще кто-то.

Сидел в уголочке и размышлял, как бы так поубедительнее изложить свою просьбу. Чтобы сразу не напугать, решил просить только одну машину и лишь на двое суток. Тут он и вошел, поздоровался со всеми, кто ожидал его, задержался глазами на моей форме и сказал:

— Извините, товарищи, но первым приму моряка: он — гость.

Выслушал меня внимательно, ни разу не перебил. Потом переспросил, сколько груза мне нужно перевезти, что-то подсчитал на листке бумаги, лежавшей на столе, и сказал:

— А я, оказавшись на вашем месте, просил бы не одну машину, а столько-то. Чтобы уложиться в один рейс.

Пришлось сознаться, что первоначальная задумка такой и была, но я, мол, понимаю, что фронту машины очень нужны, вот поэтому и прошу только одну.

Ватутин нахмурился, но сказал голосом, в котором по-прежнему звучала только доброжелательность:

— Как я догадываюсь, вам они и вовсе крайне нужны. Иначе вы не осмелились бы прийти ко мне. Или мы не одну общую задачу решаем?

А еще через час или около того я уже ехал во главе колонны из нескольких грузовиков.

Вот такого доброжелательного и делового контакта и не было между нами и армейцами во время боев на Березине и Припяти.

Нет, вину за отсутствие настоящих деловых контактов я взваливал не только на армейских начальников. Часть ее, безусловно, лежала и на моем командовании. Да и я был грешен в том, что не проявил ни нужной инициативы, ни настойчивости.

Тогда же, во время этого вынужденного безделья, я и понял окончательно, что флот без сухопутных сил очень мало значит, что в Боевом уставе совершенно правильно сухопутным силам отводится главенствующая роль. Для меня лично этот вывод был важен еще и потому, что (чего греха таить?) в начале войны мы, моряки, несколько пренебрежительно поглядывали на армейцев, дескать,

не они, а мы соль военного племени! И когда до нас доходили слухи, мол, такой-то командующий флотом плохо ладит с армейским начальством, мы неизменно и безоговорочно принимали сторону адмирала.

Пришел я к этому выводу после того, как подумал: а почему же наша Днепровская военная флотилия, которая по своей боевой мощи значительно уступает довоенной, хотя и имеет потери в корабельном и личном составе, все равно выходит победительницей из всех боев? Ответ мог быть только один: теперь, в 1944 году, соотношение сил изменилось, теперь наша армия умело и мощно громила врага; ее успехи принесли удачу и нам, флотским.

Короче говоря, я стал ярым сторонником самых прочных деловых контактов с армейским начальством, безоговорочно признал, что оно должно быть первым в принятии решения на совместный бой.

Второй недостаток, который я обнаружил, анализируя прошедшие бои, сводился к тому, что на Березине и Припяти не всегда командные пункты групп кораблей находились от места боя на таком расстоянии, чтобы командование могло своевременно и правильно реагировать на то или иное изменение в боевой обстановке. Например, во время боев на Припяти командный пункт 2-й бригады кораблей был в 30—40 километрах от фронта.

А больше всего думалось о том, что теперь воевать нам придется не на своей земле, а на территории Польши, откуда до Берлина, как говорится, рукой подать.

И гордость была, что мы наконец-то вышвырнули гитлеровцев с нашей родной земли, и в то же время думалось: а как-то встретит нас народ Польши? Сразу же скажу, что трудящиеся Польши с радостью встречали нас, своих освободителей от фашистского ига. Я отлично помню и многие митинги, стихийно возникавшие в городах и селах, где мы появлялись, и развевающиеся рядом наши и польские флаги, и ту заботу, которой народ Польши окружал наших раненых товарищей. И лучше всего отношение трудового народа Польши к нам, своим освободителям, как мне кажется, характеризует такой исторический факт, который я не забуду до самых последних своих дней.

В конце июля 1944 года в бою под польской деревней Герасимовиче советский воин Г. П. Купавин, когда наша

атака могла вот-вот захлебнуться, телом своим прикрыл амбразуру вражеского дота.

Через несколько дней после героической смерти Купавина на общем собрании жители деревни Герасимовиче приняли решение, в котором было записано и такое: «...Учителям каждый год начинать первый урок в первом классе с рассказа о войне-герое и его соратниках, чьей кровью для польских детей добыто право на счастье и свободу. Пусть прослушают дети рассказ стоя. Пусть их сердца наполняются гордостью за русского брата, воина-славянина. Пусть их понимание жизни начинается с мысли о братстве польского и русского народов».

И по сей день это решение выполняется без малейшего изменения.

Смуцало меня только то, что в Польшу и Германию мы должны были прийти лишь освободителями от фашизма. Тогда мне казалось, что там, где ступила нога нашего воина, обязана была немедленно и навечно утвердиться Советская власть.

Это уже значительно позднее, когда окончилась война, я понял правильность нашей внешней политики того времени, а тогда, признаюсь, в душе против многого бунтовал.

Зато умом и сердцем сразу принял все, что касалось немецкого народа, сразу же согласился с тем, что он не должен отвечать за злодеяния фашистских главарей. Даже к пленным, как и прочие мои товарищи, не испытывал жгучей ненависти.

Между прочим, в Бобруйском котле и сразу же после высадки десанта в Пинске мы взяли много пленных, а видели и того больше. Мы были почти равнодушны к ним. А вот что касается власовского отребья...

Власовцев и всех прочих, подобных им, мы ненавидели, не верили им даже в самом малом. Может быть, еще и потому, что после Бобруйской операции попытались прикоснуться к душе одного из них.

Он долгое время скрывался в толпе пленных немцев. Потом, убедившись, что наши солдаты и матросы не проявляют какой-то агрессивности по отношению к ним, подошел к солдату, охранявшему пленных, попросил у него прикурить. На чистейшем русском языке попросил. Солдаты и матросы, разумеется, сразу же бросились к нему, вырвали из толпы пленных и начали спрашивать,

кто он такой да как так случилось, что он стал активным помощником фашистов, поднял оружие на свой народ.

Он ответил, что в плен попал в 1941 году. Долго мыкался по различным лагерям, посмотрелся и натерпелся всякого. Потом, дескать, прибыли вербовщики. Вот тогда перед ним и открылись два пути: подыхать в лагере от голода и побоев или идти служить в отряд власовцев. Он выбрал последнее. Рассказал все это и топорливо добавил:

— Думал, подправляюсь на хороших харчах, получу оружие и убегу к вам.

Этот же власовец и сказал, что где-то под Краснодаром у него живут жена и дочь, что он скучает о них.

Вот и получилось, что если верить ему, не преступник он, а жертва войны, если хотите — во всем виновата его судьба-злодейка.

И тут кто-то из матросов, кого нисколько не тронула эта довольно-таки слезливая история, и предложил ему воплотить в реальность свою давнюю мечту — взять в руки винтовку и вместе с нами идти воевать против фашистов.

Как ощерился тот подонок, услышав это наше предложение! Что, снова воевать?! Да у него есть жена и дочь! Он три года не был в отпуске! И вообще ему надоело играть в жмурки со смертью!

Замечу, что разговор велся в спокойных тонах, а тут матросы, конечно, разозлились: ведь многие из них не три года, а дольше не виделись со своими близкими; а что касается игры в жмурки со смертью... Поэтому слова того подонка вызвали у нас не жалость, на что тот рассчитывал, а презрение, даже злобу.

Однако, как я думаю, и тогда смерть ему еще не угрожала. Но он перетрусил и бросился в Березину, поплыл к противоположному берегу. Пуля, разумеется, мгновенно догнала его.

Итак, мои матросы совершили самосуд, за который мне крепко влетело. И все равно я и сегодня не жалею о случившемся: одним мерзавцем стало меньше на земле.

И еще в период моего лечения случилось так, что я приехал в Киев как раз в тот момент, когда по его улицам, казалось, бесконечной толпой и во всю ширину проезжей части шли толпы пленных. Не знаю, сколько, но

мне показалось, что невероятно долго, опираясь на костыли, я простоял на перекрестке, глядя на рядовых, офицеров и даже генералов, на тщедушных тотальщиков и заматеревших на грабежах и убийствах эсэсовцев. Теперь все они шли одинаково понуро. Словно не они еще недавно стреляли в моих товарищей и в меня самого.

В этот момент я невероятно гордился, что со своими матросами участвовал в тех боях, давших такое количество пленных.

Я залечивал рану, анализировал недавнее прошлое, думал о том, как мы будем воевать и вести себя на землях Польши и Германии, а флотилия в это время деятельно готовилась к грядущим боям — доукомплектовывалась людьми и кораблями. Причем (это являлось новинкой в плане военной науки) было решено одну бригаду в полном корабельном составе железной дорогой отправить из Пинска, а другую — из Мозыря. Пункт назначения — станция Треблинка, от которой до реки Нарев, где укрепился враг, было всего лишь 93 километра.

Казалось бы, разве это расстояние для наших катеров? Несколько часов ходу — и мы на месте!

Но я и сегодня с дрожью в сердце вспоминаю эти километры.

И только потому, что Западный Буг там, где мы оказались по воле командования, был чрезвычайно мелок — на перекатах до 30 сантиметров. О каком же плавании могла идти речь, если осадка наших катеров была около метра?

Я уже упоминал, что на Березине и Припяти мы с тоской вспоминали просторы Волги и Днепра. А здесь, на Западном Буге, уже и Березина, и Припять помнились нам только как многоводные.

Почти три недели мы «скребли» эти 93 километра!

В историю Советского Военно-Морского Флота, как страница беспримерной доблести, вошел Ледовый переход кораблей из Гельсингфорса в Кронштадт (1918 год). Лично я склонен переход Днепровской военной флотилии по Западному Бугу приравнять к тому, назвав его Каменным.

Но не буду забегать вперед.

Догнал флотилию я уже в Польше, явился к самому высокому своему начальству, доложил, что так, мол, и так, после излечения прибыл для дальнейшего прохождения службы. Только доложил — мне и преподнесли

сюрприз: дескать, вашим дивизионом сейчас командует такой-то, поэтому вас временно назначаем начальником штаба дивизиона бронекатеров, которым командует капитан 3-го ранга Михайлов. Я сразу внутренне насторожился, ибо это назначение таило в себе изрядный «подводный камень». Прежде всего хотя бы потому, что такой должности в природе не существовало. Вот и получалось, что с момента опубликования этого приказа я переходил на своеобразное «нелегальное положение» как для личного состава флотилии, так и для Управления кадров Наркомата Военно-Морского Флота. Невольно стал думать, почему, ради чего командование флотилии пошло на это? Нашел лишь две причины: решили мной заменить теперешнего комдива или прятали меня от загребуших рук наркомата, берегли для какого-то дела.

То и другое, выражаясь мягко, было неприятно. Особенно первое; оно претило всему складу моего характера. Действительно, что может быть хуже, нежели разговаривать с человеком, безропотно выполнять его приказания, а в душе сознавать, что вот-вот займешь его место?

А если второе... Все равно очень неуютно чувствуют себя два комдива, оказавшиеся на одном дивизионе. И еще — это были те самые михайловцы, которые с первых дней своего пребывания на Днепре брали пример с нас.

И все-таки Иван Платонович Михайлов встретил меня радушно, старался ничем не показать, что его очень и больно задевает и волнует мое присутствие на дивизионе; у нас с ним почти сразу же установились вроде бы нормальные деловые отношения.

Несколько сложнее и дольше происходило мое вращение в личный состав дивизиона. Офицеры и матросы никак не хотели верить, что я «просто так» переведен к ним, да еще с назначением на несуществующую должность. Кое-кто даже полез с «откровенными разговорами», попытался хоть как-то в моих глазах скомпрометировать и самого Михайлова, и жизнь дивизиона, его боевые заслуги. Этим пришлось осадить. И довольно-таки сурово.

Безусловно, до самого последнего дня своего пребывания в этом дивизионе я чувствовал себя не «в своей тарелке», хотя и старался не показать этого.

Трудно мне было еще и потому, что у нас с Михайловым был совершенно различный стиль руководства. Так, если я привык и любил обсуждать с офицерами проект боевого приказа, старался при его доработке учесть все полезное, высказанное товарищами, то здесь приказ писался лично комдивом и в полном одиночестве; у нас в дивизионе было принято, что каждый отвечает за конкретно ему порученное дело, как бы сложно оно ни было, а тут Иван Платонович все даже мало-мальски важное брал на себя, вплоть до того, что порой становился к штурвалу.

Вот и в первый день моего пребывания в дивизионе, вернее, сразу после того, как я представился Михайлову, бронекатера начали сниматься со швартовых. Перед этим Иван Платонович, помнится, с такой речью обратился к командирам отрядов:

— Под мосточек я проведу каждого из вас, а дальше сами пойдете до переката. Там — стоять и ждать меня!

Когда командиры отрядов ушли, я осторожно спросил:

— А мне, Иван Платонович, где быть, чем заниматься?

Он ответил без промедления:

— Ты мой первый заместитель и сам выбирай себе место. А что делать — задача тебе ясна... Если в первый день хочешь со мной побыть, — говори, не стесняйся.

Я ушел на бронекатер; которым командовал лейтенант Захаров — мой хороший знакомый еще по боям за Пинск.

С ним мы и стояли в рубке катера, смотрели, как Иван Платонович мастерски проводил под мосточком катера, потом швартовал их к берегу и пешком поспешал обратно, чтобы вести следующий катер.

В душе я надеялся, что моему-то опыту комдив доверится, но...

Уже вечером, когда мы с Иваном Платоновичем остались одни, я спросил, почему он все сам да сам, почему нисколько не доверяет ни командирам катеров, ни командирам отрядов.

— Понимаешь, проход узкий, еще зацепятся за сваи, — ответил он.

— А если в бою им такой же узкий проход попадет-ся? — не удержался я от вопроса.

— Там уж что получится, а здесь лучше подстраховаться.

Этот короткий разговор не убедил меня в правильности позиции Ивана Платоновича, я по-прежнему считал, что личный состав дивизиона (да и любого подразделения или части вообще) нужно постоянно приучать к самостоятельности, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезь, ну и уклонился от спора. Единственное, что потребовал категорично, — меня он больше не опекает. Иван Платонович дал слово, что ничего подобного впредь не допустит. Но я-то видел, чего стоило ему это обещание!

Вот это постоянное стремление все сложное сделать самому, как мне кажется, и было одним из недостатков Михайлова — опытного моряка и душевного человека.

За тот день мы всем дивизионом только и успели проскочить под мосточком. Еще и потому, что сразу после него начинался перекаат, где глубина была меньше осадки катеров.

Казалось, из одних мелководных перекаатов и состоял Западный Буг!

В преодолении всех этих бесчисленных перекаатов я и вижу, если хотите, и героизм, и волю к победе, и заслугу моряков. Прежде всего потому, что все это происходило в конце сентября и первых числах октября, когда даже кратковременное купание не дарило ни малейшей радости. А ведь матросы от зари до зари были в воде: отыскивали фарватер, обозначали его вешками, сооружали плетни, которые направляли струи течения туда, куда было нужно нам.

А чаще всего на перекаате матросы выстраивались в две шеренги и лицом друг к другу. В этот коридор, стенками которого были люди, и нацеливался очередной бронекатер, набрав самую допустимо высокую скорость. Распушит белые водяные усы и несется, кажется, прямо на людей, вот-вот опрокинет, подавит их.

Чтобы в подобный момент устоять на месте, поверьте, дорогие читатели, нужно было обладать недюжинным мужеством, очень верить в точность глазомера и твердость руки того, кто стоял за штурвалом катера.

Но вот под днищем катера заскрипел песок или заскрежетали мелкие камни. Скорость его сразу катастрофически падает, еще мгновение — и он прочно засядет на мел.

А сзади уже накатывается волна в пелеринке из белой пены, поднятой его винтом. Она обязательно сама чуть приподымет катер, сама хоть на сантиметры, но продвинет его вперед.

Именно в этот момент — ни раньше, ни позже — обе человеческие шеренги и бросались на помощь волне, облепляли катер с бортов, подталкивали, подпирали с кормы плечами и вагами.

Случалось, если отмель была узкой — так, полосочка, — катер переваливал через нее. Но чаще останавливался, отвоевав у отмели лишь несколько метров. Тогда в ход шли лопаты (ими углубляли фарватер), лебедки катеров-тральщиков и опять же — сила, смекалка и упорство личного состава.

Вот так — с постоянным напряжением физических и моральных сил — мы и шли эти 93 километра, отделявшие нас от фронта, почти три недели шли.

Преодолеть все эти перекаты и мели нам иногда помогала и армия. Кое-где через перекаты нас тащили тракторы, а однажды даже танк. И местное население помогало.

С дивизионом Михайлова я дошел до района Попово-Костельная. Здесь меня вызвали в штаб флотилии и сразу же переадресовали в штаб армии, где и состоялась еще одна моя встреча с генералом Рокоссовским.

Не буду скрывать, волновался: понимал, что не на чай приглашен.

Это была моя третья и последняя встреча с прославленным полководцем. Первая состоялась в мае 1942 года, когда мы возвращались с задания, а Рокоссовский после ранения только вступил вновь в командование фронтом; вторая — в октябре того же года уже под Сталинградом. Так что я знал и манеру разговора, и требовательность генерала Рокоссовского.

Особо подчеркну: я волновался потому, что ждал какого-то особого задания, которое, хотя о нем только догадывался, уже хотелось выполнить как можно лучше. Это волнение не имело ничего общего с боязнью.

Я был принят сразу же, как только прибыл. Разговор длился минут пять, не больше: мне было приказано немедленно ехать в Пинск, принять там отдельный батальон морской пехоты и вместе с ним прибыть к фронту.

— Машины уже готовы, — добавил Рокоссовский и кивком дал понять, что больше не задерживает.

Действительно, машины стояли за зоной. Только я сел в кабину головной, как вся колонна тронулась и, набрав скорость, понеслась к Пинску.

Водители были умелые, моторы работали безупречно, и мы без каких-либо происшествий проскочили эти сотни километров. Когда прибыли в Пинск, была глубокая ночь. На небе — ни звездочки, в домах — ни огонька. Однако мы довольно быстро нашли комендатуру.

Комендант города, узнав о цели моего приезда, не стал скрывать радости, прямо заявил, что вздохнет с облегчением, сразу же как только заберу от него батальон. И пояснил, что батальон укомплектован участниками обороны городов-героев. Иными словами, вряд ли найдешь более подготовленных к боям солдат, но... И армейских офицеров они почти не приветствуют, и до драк охочи; и в самоволки будто влюблены, не иначе; и девчат не соблазняют, на них женятся сразу же, как только знакомятся; правда, одному такому молодому в загсе штамп о регистрации брака умудрились приклепнуть на самой обыкновенной увольнительной записке, которую он немедленно сдал дежурному, явившись в батальон.

Все это мне выложил комендант города. А в заключение сказал:

— Раньше чем завтра к вечеру и не мечтай к фронту тронуться: они из самоволок только к обеду являются.

Мне уже приходилось иметь дела с подобной вольницей, и я знал, что вся расхлябанность слетит с этих людей сразу, как только перед ними будет поставлена боевая задача; поэтому речь коменданта я выслушал сравнительно спокойно. Но последние его слова заставили насторожиться. Ведь в моей военной биографии еще не было такого случая, чтобы я не выполнил в срок чье-то приказание. А тут самого Рокоссовского! Неужели опозорюсь?

Основательно взвинтил меня комендант города своими последними словами. Так взвинтил, что, отослав машины в казармы, я туда же пошел пешком. Шел и думал о том, как бы сделать так, чтобы, вопреки прогнозу коменданта, уже утром начать движение к фронту. Однако ничего дельного в голову не приходило.

И вдруг я увидел человек пять матросов, которые не очень твердой походкой шли мне навстречу. Один из них и сказал:

— Может, этому гуляке бока намнем?

Сейчас те слова я склонен считать неудачной шуткой, а тогда впервые за годы войны нервы мои сдали, и я ударил шутника, ударил как только мог и умел. Он упал на мостовую.

Что я могу сказать в свое оправдание? Знаю, нет причин, оправдывающих рукоприкладство. Все же напомним, что я только что пролетел на машинах вполне приличное расстояние. Без единой остановки пролетел. Чтобы сразу же с этими ребятами вернуться на фронт.

И больше всего меня бесило то, что из-за расхлябанности этих парней может быть не выполнен приказ. И чей? Генерала Рокоссовского, которого все мы немножечко боготворили!

Признаться, в тот момент я не испытывал ни малейшего раскаяния за сделанное. И, возможно, быть бы драке, если бы тот матрос не крикнул, еще лежа на мостовой:

— Братва! Не трогай его! Это кто-то из своих!

Моментально два или три трофейных электрических фонарика осветили мое лицо. А еще через несколько минут, когда матросы узнали и меня, и цель моего появления в Пинске, мы разговаривали уже нормально. Они и посоветовали мне немедленно идти в казармы, объявить боевую тревогу и выпустить в небо побольше красных ракет; сами же захотели забежать куда-то, где, по их словам, ракет могут не увидеть.

Теперь уже значительно бодрее я зашагал дальше, веря, что все обязательно образуется. И еще думал о том, что и эти парни, как и другие подобные, с которыми мне уже приходилось общаться, видимо, терпеть не могут заигрываний и сюсюканья, зато, если они виноваты, взыскивай с них — не обидятся. Ведь не вспылит же тот, которого я ударил. Понял, что сам вызвал вспышку гнева, вот и смолчал.

На рассвете, когда жители Пинска еще досматривали последние сны, наша колонна машин уже покидала город. С того момента, как я прибыл в батальон, прошли буквально считанные часы, но между мной и матросами установились уже вполне приемлемые взаимоотношения: мои приказания выполнялись безоговорочно и моментально. В большой степени этому способствовало и то, что многие из матросов заочно уже были знакомы со мной и с моим характером, так как слышали и о походе на

Дон, и о многом другом, из чего тогда слагалась моя биография.

Правда, когда мы тронулись из Пинска, я все же пошел на уступку, исполнил одно из желаний матросов — разрешил произвести прощальный салют из автоматов. Потому разрешил, что боялся, как бы самовольно они не стали стрелять из пулеметов, противотанковых ружей и даже минометов. Что ни говорите, а колонна машин основательно была растянута, разве я одновременно попал бы и в голову, и в середину, и в хвост ее?

Уже ночью, по «зеленой улице» проскочив границу с Польшей, мы прибыли в пункт назначения, где нас ждал представитель фронта. Он и поставил задачу: 19 октября совместно с армейскими соединениями атаковать город Сероцк и взять его.

Остаток ночи и день ушли на уточнение обстановки и сил противника, на установление личной связи с командирами армейских частей — нашими товарищами по предстоящему бою, а в ночь на 19 октября с полуглиссеров флотилии десантники и высадились в Сероцке. Как я уже говорил, все они обладали большим опытом боев; поэтому сразу же уцепились за прибрежные кварталы и подняли здесь такую пальбу, что фашистское командование сделало ошибочный вывод: «Вот оно, направление главного удара!»

Мы, конечно, немедленно перебросили через Нарев главные силы батальона, а армейцы, улучив момент, нанесли решающий удар, и к утру над Сероцком уже реял наш военно-морской флаг, который десантники взяли с собой, уходя на задание.

А вот мое участие в бою за Сероцк было очень своеобразным: сидел в наспех вырытой землянке на противоположном от города берегу Нарева и... матюгался как только умел. А ведь начало никак не предвещало такого конфуза!

Я собрал командиров рот и поставил перед ними задачи на бой. Потом, отправив все роты, и сам двинулся к Нареву, чтобы проследить за действиями первого броска десанта и самому переправиться на тот берег одновременно с главными силами батальона. До берега реки оставалось совсем немного, когда ко мне вплотную подошли четыре здоровущих матроса, выделенные в связные. Один из них с таким одесским прононсом и спросил:

— А куда вы, комбат, торопитесь? Не знаете, что в бою каждый наш матрос — академик? Или хотите, чтобы батальону поскорее дали нового командира? Если так, то раньше нужно было спросить, а хочет ли этого батальон? И вообще, настоящий комбат должен сидеть на командном пункте и только внимательно следить, чтобы его приказанья выполнялись точно.

Я, разумеется, возмутился и послал его с нравоучениями подалее, попробовал даже помахать руками, но матросы бесцеремонно сграбастали меня и сунули в эту заранее подготовленную землянку. Вот тут, опять получив относительную свободу, и разбушевался окончательно, грозя им всеми карами земными и небесными. Не помогло.

Однако донесения от командиров рот ко мне поступали своевременно. Да и мои приказы отправлялись без промедления.

После взятия Сероцка наш батальон совместно с армейцами так же успешно овладел крепостями Зегже, Избица и Дембе. К тому моменту я уже и вовсе прилично знал людей батальона, даже полюбил их за умение и лихость в бою, за настоящую товарищескую спайку.

Особенно по душе пришелся мне Миша Аверьянц — в прошлом, кажется, барабанщик оркестра Балтийского флотского экипажа. Маленький и чуть косолапый, он в Пинске одним из последних подошел к машине, где в ожидании запоздавших уже сидели его товарищи. На его голове, скрывая почти половину лица, была огромная каска, а матросский ремень под тяжестью двух противотанковых гранат просто каким-то чудом держался у него значительно ниже того места, где ему полагалось быть. Добавьте к этому, что шел Миша неторопливо, вразвалочку. Пародия, а не военный моряк!

За все годы войны я не видывал человека, который в военной форме выглядел бы более нелепо. И только я собирался показать свой характер, как Миша вскинул руки к небу и забормотал невероятной скороговоркой, сливая в одно два слова:

— Митотальни, митотальни...

Это было так похоже на лепет тотальника, сдающегося в плен, что с минуту я еще крепился, еще хмурился, а потом не выдержал и захохотал вместе с матросами.

И позднее, случалось — в самый критический момент боя, Миша не раз и вдруг смешил матросов. Самое же

главное его достоинство — он, казалось, вообще не ведал страха, беспрекословно и точно шел туда, куда ему было приказано. И делал свое дело.

Полюбил я и Кирюшу — матроса саженного роста и невероятной силищи. Этот в атаку ходил только с ручным пулеметом. Прижмет его приклад к своему бедру, шагает во весь рост и строчит по фашистам.

Оба они — и Миша Аверьянец и Кирюша (фамилии не помню) — пали в бою за крепость Дембе.

Я думал, что до Берлина дойду с этим батальоном, но командование флотилией вдруг снова направило меня в дивизион Михайлова и на прежнюю несуществующую должность — начальником штаба.

Бронекатера теперь стояли на закрытой огневой позиции и вели огонь по редким целям. Михайлов, офицеры и матросы дивизиона встретили меня нормально, то есть так, словно я только на день и по личным второстепенным делам покидал их. Все было бы прекрасно, если бы...

Согласитесь, это вовсе не одно и то же — стрелять по врагу с закрытой огневой позиции или водить в бой батальон, где были собраны такие сорви-головы, которые даже в тыловой (сравнительно спокойной) обстановке скучать не давали.

Однако, хотя сейчас и жалею на некоторую вроде бы скуку, в то время я был погружен в повседневные заботы так, что не заметил, как подкралась зима и по Нареву поплыло «сало». А вскоре после этого пришел приказ о том, что нам надлежит отойти на зимовку.

Откровенно говоря, мы не возражали, ибо жить на бронекатерах стало вовсе невозможно. Из-за холода невозможно. Правда, в кубрики мы поставили «буржуйки», но они приносили мало радости. Бывало, пока горят в них дрова или уголь, в кубрике как в банной парилке, хоть голышом ходи. А прогорало все — мохнатым куржаком покрывались борта; случалось, к борту намертво примерзали шинель или полушубок спящего.

Сейчас я прекрасно понимаю, что в тех невероятно трудных для жизни условиях все мы должны были обязательно переболеть ангинами, гриппами и прочими подобными «бьяками». Но санчасть дивизиона пустовала: таково было нервное напряжение, что простуда оказалась бессильной.

Ушли бронекатера на зимовку; только стали мы обживать землянки — опять вызвали в штаб флотилии, где и вручили приказ о назначении меня начальником штаба отряда кораблей, стоявших в Пинске. В душе чертыхнулся (опять на перекладных ехать!), но в тот же день проголосовал на перекрестке дорог и, пряча нос и щеки в поднятом воротнике шинели, затрясся в дребезжащем кузове полуторки. Ехал и думал, какой там, в Пинске, еще отряд новых кораблей появился, если осенью все под метелку подчистили?

Считал свое назначение фикцией, всю дорогу уговаривал себя, что надо и побездельничать, раз такова воля начальства. И тем больше была радость, когда в порту Пинска увидел и бронекатера, и катера ПВО, и плавучие батареи. Да еще полностью укомплектованные личным составом!

Сначала, правда, никак не мог понять, почему бронекатерами командуют капитан-лейтенанты и даже капитаны 3-го ранга (всю войну в этой должности с успехом пребывали мичманы и лейтенанты), но стоило спросить — узнал, что это вчерашние командиры рот и батальонов морской пехоты, батарей и даже артиллерийских дивизионов; миновала надобность, вот армия и вернула их флоту.

Прошло еще несколько дней, я полностью ознакомился с составом отряда и понял, что это по силам своим — бригада кораблей (скоро отряд так и стал именоваться), что Днепровская военная флотилия весной, как только вскрыются реки, обязательно ударит на Берлин, до которого теперь действительно было рукой подать.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В 1946 году, демобилизовавшись, я приехал домой в Пермь. Месяца два только тем и занимался, что любовался городом и Камой, приглядывался к жизни «на гражданке», о которой имел очень приблизительное представление.

В те месяцы мне еще казалось, будто я чрезмерно устал от дисциплины — неизменной составляющей боевой мощи нашего славного Военно-Морского Флота. Тогда мне еще казалось, что ею я сыт по горло. И вдруг (даже не заметил, когда это началось) почувствовал,

что мне, как птице небесного простора, для полноты счастья не хватает именно ее, железной дисциплины, не хватает тех простых и ясных отношений, которые установились у меня с офицерами и матросами.

Скоро эта тоска заполнила меня настолько, что белый свет стал не мил.

И вот однажды (не знаю, как на такое осмелился!), когда мама легла спать, я сел за письменный стол и всю ночь писал свой первый рассказ — только то, свидетелем чего был сам. По названию судите: «Из дневника морского пехотинца».

Когда писал его, у меня не было мысли, что я когда-нибудь стану писателем. Тогда у меня впереди маячила одна цель: рассказать землякам о моих фронтовых друзьях, об их боевых делах.

Кроме того, работая над рукописью, я вроде бы снова продолжал свою службу на флоте, вроде бы по-прежнему находился в строю.

Сейчас я, разумеется, понимаю, насколько несовершенен был тот мой рассказ. На очень многие просчеты — большие и маленькие — указали мне писатели, жившие тогда в Перми и принимавшие участие в его обсуждении.

Самое же обидное сказал пожилой писатель, которого я уважаю и по сегодняшний день:

— Как мне кажется, Олег Константинович, вы войну знаете с этой стороны у вас все благополучно. Однако вы совершенно не видите своих героев...

Это я-то не вижу Сашу Копысова и Никиту Кривохатько?! Да они днем и ночью стоят у меня перед глазами!

Хотя спасибо тебе, человек, не выдавший войны, и за то, что солдата во мне признал!

Таков примерно был ход моих мыслей в тот момент. И я, разумеется, все это высказал в довольно-таки резкой форме. Но пожилой писатель, в адрес которого я метнул свои громы и молнии, не обиделся, похоже, хотел что-то сказать, да разве меня можно было остановить, если я уже закусил удила? И он только грустно улыбнулся.

Не помню, сколько времени прошло, пока моя обида улеглась. Но это случилось. И тогда я стал докапываться до своего промаха, позволившего пожилому писателю так категорично заявить. Докопался с помощью тогда

еще начинающего поэта Б. В. Ширшова. Оказывается, сам-то я прекрасно видел своих героев, а вот дать их черты, составляющие портрет, и не мог. На это моего видения своих героев и не хватало.

Между прочим, это очень сложно — дать четкий словесный портрет человека. Действительно, далеко не каждый человек возьмется так рассказать мне о своем знакомом, чтобы я, встретившись с ним случайно в людном городе, сразу же узнал его.

А ведь писатель в каждом своем произведении решает подобные задачи. И тем успешнее, чем отчетливее читатели видят его героев.

Много неприятного высказали тогда в мой адрес братья-писатели. Однако, хотя я и был основательно взвинчен замечаниями, все же в голосах критикующих уловил нотки доброжелательности и не испугался предстоящей большой работы. Как результат — уже в 1948 году в альманахе «Прикамье» этот рассказ был напечатан с незначительными сокращениями.

Не передать словами, что я испытывал, когда держал в руках тот альманах.

Между прочим, теперь, когда мной написано уже пятнадцать книг, которые вышли в Перми и в Москве, мне кажется, что я постиг две главные причины, заставляющие определенную часть в общем-то талантливых авторов всю жизнь ходить в подающих надежды. Первая — они считают, что написать рассказ или стихотворение — дело плевое; нахлынет вдохновение — и перо само заскользит по бумаге. И выдаст такой шедевр, что другим и не снилось!

Эти товарищи заранее настроились не на упорную и повседневную работу, они, взявшись за перо, намеревались не работать, а пожинать лавры. Оптом и в розницу.

И что самое обидное — эти товарищи начисто отвергают самую доброжелательную критику; каждого, высказавшего даже незначительное замечание, сразу же зачисляют в разряд своих личных недоброжелателей-завистников.

Мне, например, пришлось до конца познать одного такого товарища. Он написал примерно десять повестей и романов, из которых ничего не вышло в свет, хотя кое-что после доработки и могло бы появиться. Причина одна: выслушав критику и огрызнувшись на нее, он немед-

ленно переплетал свою рукопись и бережно клал на дно сундука, окованного железными полосами.

Вторая причина, мешающая расти некоторым даже одаренным товарищам, — верхоглядство. Они ничего не знают по-настоящему (и не хотят знать!), пишут даже о том, о чем, мягко выражаясь, имеют приблизительное представление. Так, один двадцатилетний юноша принес на мой суд роман о... жизни негров в Америке!

Я, конечно, не смог сдержать своего любопытства и спросил, когда он в последний раз был в Америке? Или пользовался литературой?

Он ответил с огромной гордостью:

— С меня достаточно и того, что я из газет знаю!

Нужно ли говорить, что это был за роман?

С того обсуждения первого моего рассказа я и стал вхож в Пермскую писательскую организацию. В то время она имела в своем составе лишь трех членов Союза писателей СССР — Б. Н. Михайлова, А. Н. Спешилова и Е. Ф. Трутневу. Да еще в литературном активе ходили Н. Н. Арбенева, А. И. Пак, В. А. Черненко и Б. В. Шишов. Зато директором Пермского книжного издательства была Л. С. Римская, которая своей главной сердечной заботой считала всяческое содействие развитию местных литературных сил. Не на словах, а на деле считала.

Велика роль в становлении Пермской писательской организации и К. В. Рождественской, которая с 1949 года в течение многих лет была ее ответственным секретарем.

Как следствие — уже вскоре членами Союза писателей стали все, кого я назвал литературным активом, и коми-пермяки С. И. Караваев и Н. В. Попов.

Сейчас у нас более двадцати членов Союза писателей СССР, около 30 человек литературного актива — авторов одной и более книг, и почти 40 молодых авторов; эти еще набирают разбег, но, похоже, кое-кто из них вот-вот окончательно приобретет свой собственный голос.

И вообще я крепко верю, что в ближайшие годы многие из тех, кого мы сейчас именуем начинающими, станут членами Союза писателей СССР. Ведь не напрасно же мы систематически даем им консультации, где только позволяют условия, организуем литературные кружки и объединения, проводим областные семинары и

не бежим даже от индивидуального шефства над отдельными товарищами.

Да разве перечислить все, что у нас делается для того, чтобы начинающий автор скорее постиг основы литературного мастерства?

Все это и питает мою уверенность в быстром возмужании нашей литературной молодежи.

А я все эти годы писал. Преимущественно о войне, о замечательных людях, с которыми мне довелось встретиться на ее дорогах. Двенадцать из пятнадцати книг я посвятил советским воинам. И кое-кто из братьев-писателей стал намекать мне, дескать, не пора ли сменить тему? Стал настойчиво намекать.

И подумалось: действительно, может быть, пора? Ведь столько интересного и даже величественного свершается кругом, свершается на моих глазах?

Сознаюсь, крепко подумывал об этом.

И вдруг в январе 1973 года я получил приглашение на торжественное заседание, посвященное тридцатилетию разгрома гитлеровцев под Сталинградом. В Москву на торжественное заседание меня пригласили. Конечно, очень обрадовался, конечно, был горд, что меня не забыли и даже нашли.

Как и было назначено, вечером 1 февраля пришел в Центральный дом Советской Армии. Здесь мне и сказали, что мое место в президиуме.

Многое мне довелось испытать за годы Великой Отечественной войны, но, пожалуй, еще никогда я так не волновался, как в тот момент, когда вместе с прославленными генералами и адмиралами выходил на сцену, залитую светом мощных электрических ламп.

Потом были чеканная поступь почетного караула и шелест боевых знамен за моей спиной. Знамен тех самых частей и соединений Советской Армии, бок о бок с которыми мы тридцать лет назад одержали столь важную и блистательную победу.

Словно в радужном сне пребывал я в первые минуты.

Пришел в себя — смог видеть и весь президиум, и даже часть людей, сидевших в зале. Глаза, разумеется, сами останавливались прежде всего на тех, кто был в морской форме.

Постой, постой... Кто же этот капитан 1-го ранга, что сидит в первом ряду президиума?.. Честное слово, я с ним где-то встречался. И неоднократно... Неужели Пес-

ков?! Интересно, а как мне теперь к нему обращаться? По-прежнему — Саша или Александр Иванович?..

А вот к трибуне подошел контр-адмирал С. М. Воробьев! Тот самый, который во время Сталинградской битвы был командиром 1-й бригады кораблей нашей Волжской военной флотилии!

Голова белая, но сам он держится хорошо, нисколько не сгорбился. И голос еще не старческий — без дрожи. Разве чуть глуше стал...

И в партере я разглядел несколько человек, знакомых по минувшим боям. Но фамилии некоторых вспомнить не смог.

А потом... Едва председательствующий объявил торжественное заседание закрытым, сначала к сцене, а позднее и в комнаты, куда ушел президиум, поспешили многие из тех, кто до этого сидел в зале. Шли в одиночку и группами по два и более человек. А за командиром канонерской лодки «Щорс» сразу пришли шесть его бывших сослуживцев.

Первым, кого я обнял, был капитан 1-го ранга В. А. Кринов. Мы с ним просто обнялись и помолчали, не найдя слов, которые смогли бы передать наше душевное состояние.

Потом обнимался с контр-адмиралом Павловым и капитанами 1-го ранга Букатаром, Курочкиным и Песковым и многими другими столь же дорогими боевыми друзьями.

И вдруг на меня почти бросился Николай Собанин! Тот самый, который в тяжелые минуты жизни неизменно напевал: «Живет моя отрада...»

Пополнел Коленька, пополнел, раздался в талии...

А вот С. Д. Бережного я не узнал. Удивился, почему этот контр-адмирал так радостно смотрит на меня, в ответ тоже расцвел улыбкой, но кто передо мной — не мог угадать. Выручил Кринов:

— Не узнаешь? Так это же наш комиссар!

И еще было общее шумное застолье, где все не столько пили и ели, сколько говорили. Вспомнили и то, что было тридцать лет назад, и сегодняшними своими радостями и печальми делились.

Однако чаще всего то там, то здесь слышалось:

— А помнишь?..

Оказывается, очень несовершенная штука — человеческая память. Кажется, я ли не помню того, что было

тогда? На поверку все вышло далеко не так. Набатным колоколом звучали для меня эти: «А помнишь?»

...19 сентября. Ночное небо — кровавое от множества пожаров. А фашисты все бомбят Сталинград, бомбят...

Вот одна из многих бомб, падавших на город с черного неба, рванула в здании, где размещались раненые, ожидавшие отправки на левый берег Волги. Немедленно жаркое пламя забесновалось над развалинами и этого дома. Но оно не испугало матросов с катера-тральщика: они бросились в огонь и вынесли из него 75 раненых, из которых семь пришлось на долю командира катера младшего лейтенанта А. Н. Вертюлина...

...11 ноября в довольно-таки критическом положении оказалась наша 138-я стрелковая дивизия. Стало это известно — семь бронекатеров снялись со швартовых, хотя Волга и была основательно забита «салом».

Два рейса благополучно завершили бронекатера и доставили в дивизию пополнение — около тысячи бойцов. А во время следующего рейса перегрелись, вышли из строя моторы двух катеров. И тогда бронекатер № 53, которым командовал лейтенант И. Д. Карпунин, презиравая опасность, поспешил на помощь и сделал то, что казалось невозможным: вырвал оба катера из лап самой смерти, благополучно привел их в затон...

...21 ноября фашистские снаряды впились в бронекатер № 12. Оказались ранеными командир катера лейтенант Н. К. Карпов, младший политрук Ф. И. Звонков и матрос Н. И. Ус, находившийся в этот момент в носовом отсеке. Катер, лишенный управления, в любую минуту мог выброситься на береговую отмель. И матрос Ус дополз до рубки, встал к штурвалу и вывел катер из-под обстрела...

И как только я мог забыть, что в конце войны матросу Н. И. Ус присвоено звание Героя Советского Союза!

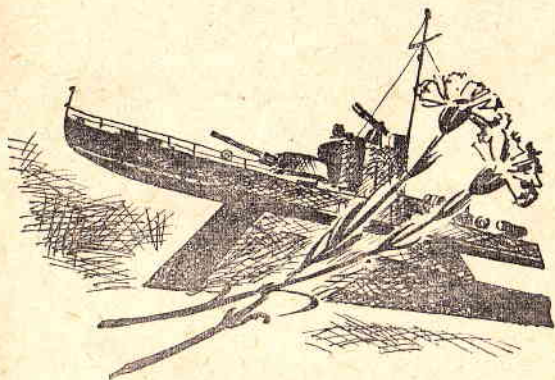
Но больше всего меня обрадовало и воодушевило то, что многие мои бывшие однополчане и в сегодняшней мирной жизни трудятся так, как и подобает ветеранам Великой Отечественной: одни стали адмиралами, а другие и за мирный свой груд отмечены правительственными наградами. Например, Г. К. Прокус, которого я знал как командира бронекатера, сегодня служит в рыболовецком флоте и с гордостью носит на своей груди Золотую Звезду Героя Социалистического Труда!

И тут, во время этого шумного застолья, когда со всех сторон слышалось: «А помнишь?» — я окончательно понял, что не имею права изменять своей военной теме, ибо очень нужно, чтобы дети и внуки наши, их дети и внуки знали всю правду о подвиге советских людей в годы войны, которая вошла в историю как Великая Отечественная.

И еще тогда мы выпили за всех товарищей, которые не дошли до этого счастливого дня. Выпили молча. Молча и постояли, воздав посильное их памяти.

Потом дали слово, что теперь будем встречаться. И разъехались по домам, бережно храня тепло сердец, накопленное за эти двое суток.

Тогда, на этой встрече с однополчанами, я и понял, что рассказал далеко не все из того, что мне известно. Значит, опять буду писать преимущественно о подвигах моего народа в годы Великой Отечественной войны. В этом я вижу свой долг перед павшими и живыми. Долг ветерана войны и писателя.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА	5
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ	7
ОДИН РАЗ О ГОСПИТАЛЕ И ДОМЕ	32
В ТЫЛ ВРАГА	47
В ТЫЛОВОМ СТАЛИНГРАДЕ	54
ПЕРВЫЕ МИНЫ НА ВОЛГЕ	63
СТАЛИНГРАД СРАЖАЕТСЯ	79
НА ДОНУ	90
В СРАЖАЮЩЕМСЯ СТАЛИНГРАДЕ	107
КОНЕЦ МИННОЙ ВОЙНЫ НА ВОЛГЕ	128
ЗДРАВСТВУЙ, ДНЕПР!	162
ПЯТЬ СУТОК НЕПРЕРЫВНОГО ПОД- ВИГА	172
МЫ СТАНО ВИМСЯ «ПИНСКИМИ»	189
ДО БЕРЛИНА — РУКОЙ ПОДАТЬ	198
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ	214

Олег Константинович Селянкин

НА РУМБЕ — МОРСКАЯ ПЕХОТА

Редактор И. Лепин. Художник А. Аверкиев. Художественный редактор Н. Горбунов. Технический редактор В. Чувашов. Корректор И. Пархомовская.

Сдано в набор 23/ХІІ-1975 г. Подписано в печать 10/ІІІ-1976 г. Формат тит. бум. № 2. 84×108²/₃₂; Бум. л. 3,5; печ. л. 7,0; усл.-печ. л. 11,76; уч.-изд. л. 12,217; ЛБ02027; Тираж 30 000 экз. Цена в колескоре 56 коп., в ледерине 60 коп. Темплан 1976 г. Изд. № 23. Зак. 1491. Пермское книжное издательство. 614000, Пермь, улица К. Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

С29 Селянкин О. К.

На румбе — морская пехота. Пермь, Кн. изд.,
1976 г.

221 стр.

Воспоминания ветерана Великой Отечественной вой-
ны о действиях морских пехотинцев

Р2

С $\frac{70302-24}{M152(03)-76}$ 23-76

69-107